МИЛАН
# КУНДЕРА

## *Неспешность*
## *Подлинность*



АЗБУКА-КЛАССИКА

# Неспешность. Подлинность

## Милан Кундера

Аннотация
Милан Кундера. Неспешность. Подлинность: Романы
Неспешность. Роман
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
Подлинность. Роман
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51

## Аннотация

Два небольших «французских» романа Милана Кундеры, написанных во второй половине 1990-х годов, — «Неспешность», «Подлинность». Они переведены на многие языки мира.

# Милан Кундера. Неспешность. Подлинность: Романы

# Неспешность
# Роман

# 1

Нам взбрело в голову провести вечер и ночь в каком-нибудь замке. Во Франции многие из них стали гостиницами: лоскут зелени, затерянный среди уродливых пространств, где ее нет и в помине; самая малость аллей, деревьев и птиц, заплутавшихся в необозримой сетке автодорог. Я сижу за баранкой и наблюдаю в ретровизор за идущей позади нас машиной. Мигает огонек слева, машина прямо-таки захлебывается от нетерпения. Водитель только и ждет случая, чтобы меня обогнать; он стережет этот миг, как ястреб стережет воробья.

Вера, моя жена, говорит: «Каждые пятьдесят минут на автотрассах Франции кто-нибудь да погибает. Ты только посмотри на придурков, что снуют вокруг нас. А ведь те же самые люди осторожничают сверх меры, когда у них на глазах грабят старушку в темном переулке. Отчего же им совсем не страшно садиться за руль?»

Как ей ответить? Ну разве что так: человек, оседлавший мотоцикл, может сконцентрироваться только на очередной секунде своей гонки; он цепляется за клочок времени, оторванный и от

прошлого, и от будущего; он выдернут из непрерывности времени; он вне его; иначе говоря, он находится в состоянии экстаза, он ничего не знает ни о своем возрасте, ни о своей жене, детях, заботах и, следовательно, ничего не боится, ибо источник страха — в будущем, а он освобожден от будущего и ему нечего бояться.

Скорость — это разновидность экстаза, подаренная человеку технической революцией. В противоположность мотоциклисту, бегун никуда не может деться из собственного тела; ему хочешь не хочешь приходится думать о своих мозолях и одышке; на бегу он чувствует свой вес, свои года, с особой остротой ощущает самого себя и время своей жизни. Все меняется, когда человек передоверяет фактор скорости машине: тело его тут же выходит из игры, и он целиком отдается внетелесной, нематериальной, чистой скорости, скорости как таковой, скорости-экстазу.

Странноватое сочетание: холодная обезличенность техники — и пламя экстаза. Вспоминаю американку, которая лет тридцать назад со строгой и восторженной миной — ни дать ни взять аппаратчик по части эротики — читала мне ледовито-теоретическую лекцию о сексуальном раскрепощении; самым частым словом в ее речах

было слово «оргазм», она повторила его сорок три раза, я не поленился подсчитать. Культ оргазма: пуританская утилитарность, просочившаяся в половую жизнь; деловитость взамен праздности, сведение полового акта к препятствию, которое надлежит как можно скорей преодолеть, чтобы достичь экстатического взрыва, единственной цели любви, да и всей вселенной.

Почему исчезла услада неспешности? Где они теперь, праздношатающиеся былых времен? Где все эти ленивые герои народных песен, эти бродяги, что брели от мельницы к мельнице и ночевали под открытым небом? Неужели исчезли вместе с проселками, лугами и полянами, то есть вместе с природой? Чешское присловье определяет их сладостную праздность такой метафорой: они засмотрелись на окна Господа Бога. А кто засмотрелся на них, тому нечего скучать: он счастлив. В нашем же мире праздность обернулась бездельем, а это совсем разные вещи: бездельник подавлен, он томится от скуки, изматывает себя постоянными поисками движения, которого ему так не хватает.

Гляжу в ретровизор: все та же машина, что никак не может меня обогнать из-за встречного потока транспорта. Рядом с водителем сидит

женщина: почему бы ему не позабавить ее болтовней, не положить ей руку на колено? Вместо этого он проклинает меня — я, видите ли, плетусь как черепаха, — а женщина уж тем более не думает погладить его по плечу, она мысленно ведет машину вместе с ним и тоже клянет меня последними словами.

И тут я вспоминаю о другой поездке из Парижа в пригородный замок, той поездке, что состоялась две с лишним сотни лет назад, а участвовали в ней госпожа де Т. и сопровождавший ее молодой кавалер. Они в первый раз оказались так близко, и невыразимая атмосфера чувственности, окружавшая их, рождалась как раз неспешностью езды: покачиваясь в такт движению кареты, их тела стали соприкасаться, сперва безотчетно, потом намеренно, а там начала завязываться их история.

## 2

Вот что рассказывается о ней в новелле Вивана Денона: некий двадцатилетний дворянин как-то вечером оказался в театре. (Ни имя, ни титул не упомянуты, но я воображаю его дворянином.) В соседней ложе он видит даму (новелла называет только первую букву ее фамилии: мадам де Т.); это приятельница Графини, чьим любовником является молодой человек. Она просит проводить ее после спектакля. Удивленный решительным поведением госпожи де Т. и сбитый с толку тем обстоятельством, что он знаком с ее фаворитом, неким Маркизом (его имени мы тоже не узнаем; мы погрузились в мир тайн, где имена неуместны), молодой дворянин, ничего не понимая, оказывается в карете рядом с прелестной дамой.

В завершение милой и приятной поездки экипаж останавливается у подъезда замка, где их встречает мрачный супруг госпожи де Т. Они ужинают втроем в молчаливой и зловещей обстановке, затем муж извиняется и оставляет их одних.

В этот момент наступает ночь, слагающаяся, подобно триптиху из трех створок, из трех этапов:

сначала они гуляют по парку, затем занимаются любовью в одном из павильонов и, наконец, продолжают то же занятие в потайном покое замка.

Ранним утром они расстаются. Не сумев отыскать свою спальню в лабиринте коридоров, молодой дворянин возвращается в парк, где, к своему удивлению, сталкивается с Маркизом, тем самым, который известен как любовник мадам де Т. Только что приехавший в замок Маркиз сердечно приветствует его и объясняет причину таинственного приглашения: госпожа де Т. использовала юного повесу в качестве своего рода ширмы, чтобы он, Маркиз, оставался вне подозрений в глазах мужа. Радуясь тому, что проделка удалась, он подтрунивает над молодым человеком, вынужденным сыграть комичную роль псевдолюбовника. А тот, утомленный ночью любви, возвращается в Париж в экипаже, предложенном ему признательным Маркизом.

Эта новелла под заглавием «Никакого завтра» была впервые опубликована в 1777 году; имя автора заменяли (мы находимся в мире тайн) пять загадочных заглавных букв: М.Д.П.К.К., которые при желании можно рассматривать как «Мсье Денон, Придворный Кавалер Короля». Потом, в том же 1777 году, она была переиздана

крохотным тиражом и совершенно анонимно, а годом позже вышла под именем другого писателя. Новые издания последовали в 1802 и 1812 годах, опять-таки без упоминания настоящего автора; наконец, после полувекового забвения, ее выпустили в свет в 1866 году. Начиная с этого времени ее стали приписывать Вивану Денону, в течение нынешнего века она стала пользоваться все возрастающей известностью. Сейчас она числится среди литературных произведений, наиболее ярко отражающих искусство и дух XVIII столетия.

## 3

На повседневном языке понятие «гедонизм» означает аморальную склонность к разгульной, а то и порочной жизни. Это, разумеется, неверно: Эпикур, первый великий теоретик наслаждения, рассматривал счастливую жизнь крайне скептически: наслаждение испытывает тот, кто не страдает. Страдание, стало быть, является основным понятием гедонизма: мы счастливы в той мере, в какой можем избежать страданий; и потому наслаждения приносят обычно больше горя, чем радости, Эпикур предписывает лишь благоразумные и скромные удовольствия. У эпикурейской мудрости меланхоличный привкус: испытывающий мирские невзгоды человек приходит к выводу, что единственной явной и подлинной ценностью является наслаждение, сколь бы малым оно ни было, которое он может ощутить: поток свежей воды, взгляд, обращенный в окно (к Божьим окнам), ласка.

Скромные или нет, удовольствия принадлежат лишь тому, кто их испытывает, и какой-нибудь философ мог бы, строго говоря, поставить в укор гедонизму его эгоистическое основание. Однако

с этой точки зрения ахиллесова пята гедонизма — не эгоизм, а его (я был бы рад ошибиться!) безнадежно утопический характер: в самом деле, я сомневаюсь в достижимости гедонистического идеала, я боюсь, что рекомендуемая им жизнь несовместима с человеческой природой.

Искусство XVIII века вывело наслаждения из тумана моральных запретов, оно породило атмосферу вольномыслия, царящего на полотнах Фрагонара и Ватто, на страницах де Сада, Кребийона-младшего или Дюкло. Вот почему мой юный друг Венсан обожает этот век, вот почему, будь его воля, он носил бы на отвороте лацкана своего пиджака профиль маркиза де Сада. Я вполне разделяю его восхищение, но добавляю (без всякой надежды на понимание), что истинное величие этого искусства состоит не в какой бы то ни было пропаганде гедонизма, а в его анализе: именно поэтому я считаю «Опасные связи» Шодерло де Лакло одним из величайших романов всех времен.

Его персонажи занимаются не чем иным, как поисками наслаждений. И, однако, до читателя мало-помалу доходит, что их интересуют не сами наслаждения, а скорее их поиски. Что главную роль играет не страсть к наслаждениям, а

стремление к победе. И то, что выглядит сначала веселой и бесстыдной игрой, незаметно и неотвратимо превращается в борьбу не на жизнь, а на смерть. Но что общего у борьбы с гедонизмом? Вспомним Эпикура, писавшего: «Мудрец не стремится ни к чему, связанному с борьбой».

Эпистолярная форма «Опасных связей» не есть лишь простой технический прием, который можно было бы заменить любым другим. Эта форма красноречива сама по себе; суть ее в том, что все пережитое персонажами пережито лишь для того, чтобы стать рассказом, сообщением, исповедью, записью. В подобном мире, где все рассказывается, самым доступным и самым смертельным оружием становится разглашение, разоблачение. Вальмон, герой романа, адресует соблазненной им женщине письмо о разрыве их связи, письмо, которое окажется для нее смертельным ударом; пикантность положения в том, что послание это от начала до конца продиктовано его подругой, маркизой де Мертей. Чуть позже та же самая маркиза показывает конфиденциальное письмо Вальмона его сопернику; тот вызывает его на дуэль, оканчивающуюся гибелью Вальмона. После его смерти интимная переписка между ним и маркизой де Мертей в

свой черед становится всеобщим достоянием, и маркиза кончает свои дни, окруженная всеобщим презрением, затравленная, изгнанная из большого света.

Ничто в этом романе не остается тайной, связывающей только два человеческих существа; весь мир оказывается внутри огромной гулкой раковины, где каждое слово звучит все сильней, подхваченное бесчисленными и бесконечными отзвуками. Когда я был маленьким, мне говорили, что в раковине, поднесенной к уху, я могу услышать незапамятно древний шепот моря. Вот так и каждое слово, произнесенное в лаклозапертом мире, остается слышимым навеки. И все это — XVIII век? И все это — парадиз наслаждений? Или, может быть, человек, сам того не сознавая, издревле живет в такой звучащей раковине? И уж, во всяком случае, гулкая раковина не имеет ничего общего с миром Эпикура, велевшего своим ученикам: «Живи втайне!»

## 4

Принимающий любезен, даже чересчур, любезнее, чем положено при обычном приеме гостей в отелях. Вспомнив о том, что мы уже были здесь года два назад, он предупреждает нас, что многое с тех пор переменилось. Конференц-зал приспособили для разного рода лекций и семинаров, был построен бассейн. Желая взглянуть на него, мы пересекли светлый холл с огромными оконными проемами, выходящими в парк. В глубине холла широкая лестница спускалась к большому квадратному бассейну под стеклянным потолком. «В тот раз, — напомнила мне Вера, — на этом месте был маленький цветник роз».

Устроившись у себя в комнате, мы вышли в сад. Зеленые уступы спускались вниз, к Сене. Это было обворожительно, мы приготовились к долгой прогулке, но через несколько минут уткнулись в шоссе, по которому сновали машины, и волей-неволей нам пришлось повернуть вспять.

Обед оказался изысканным, гости были разодеты так, словно хотели отдать должное былым временам, воспоминания о которых зыбко мерцали под потолком зала. Рядом с нами устроилась

супружеская пара с двумя детьми. Один из них все время что-то напевал высоким голоском. Подающий с подносом в руке склонился над их столиком. Мамаша вперилась в него взглядом, как бы призывая рассыпаться в похвалах по адресу своего отпрыска; польщенный вниманием, тот вскарабкался на стул и начал заливаться соловьем. Лицо отца расплылось в счастливой улыбке.

Восхитительные бордоские вина, утка, десерт, составляющий секрет местной кухни, — все это располагало нас, сытых и довольных, к беззаботному времяпрепровождению. Потом, вернувшись к себе в комнату, я на минутку включил телевизор. На экране тоже были дети. Чернокожие и умирающие. Наше пребывание в замке совпало с той порой, когда в течение целых недель день за днем по телевизору показывали детишек из африканских стран с уже успевшими позабыться названиями (все это происходило два-три года назад, как удержать в памяти всю эту экзотику!), — стран, истерзанных гражданскими войнами и голодом. У детей, похожих на скелетики, изможденных, истощенных, не было сил, чтобы отогнать мух, что прогуливались по их лицам.

«А есть ли в этих странах умирающие старики?» — спросила у меня Вера.

В том-то все и дело, что нет; особенность этого голода, в противоположность прежним бесчисленным голодовкам, которые знала Земля, в том и состоит, что он подкашивает только ребятишек. Мы ни разу не видели на экранах ни одного изможденного взрослого, хотя смотрели хронику текущих событий единственно для того, чтобы удостовериться в этом невиданном обстоятельстве.

Стало быть, нет ничего необычного в том, что не взрослые, а дети взбунтовались против жестокости старших и со всей присущей им непосредственностью организовали знаменитую кампанию под лозунгом «Пусть дети Европы пришлют хоть немного риса детям Сомали». Сомали! Вот оно, это слово, забытое название страны! Знаменитый лозунг помог мне вспомнить выскочившее из головы имя. Ах, как жаль, что теперь все это снова забылось! Дети купили рис, бесчисленное множество пакетов. Родители, вдохновленные всемирной солидарностью, одушевлявшей их отпрысков, собрали кучу денег, благотворительные организации предложили свою помощь; рис по крупинке был собран в шко-

лах, перевезен в порты, погружен на пароходы, держащие курс в Африку, весь мир стал свидетелем знаменитой рисовой эпопеи.

Не успели исчезнуть с экрана умирающие дети, как его заполонили девчушки лет шести-восьми, выряженные на манер взрослых, девчушки с умилительными манерами старых кокеток, и это было так прелестно, так трогательно — ну прямо глаз не оторвать, особенно когда эти детишки, девочки и мальчики, подражая взрослым, начали целовать друг друга в губы; потом появился мужчина, держащий на руках грудного младенца; пока он втолковывал нам, как лучше всего отстирывать замаранные пеленки, к нему подплыла молодая прелестница и, высунув чудовищно чувствительный язычок, всадила его в неимоверно любвеобильный рот мужчины с грудным младенцем.

«Пойдем-ка спать», — сказала Вера и вырубила телевизор.

## 5

Французские дети, сломя голову бросающиеся на помощь своим африканским сверстникам, неизменно вызывают у меня в памяти лицо интеллектуала Берка. Тогда он был в зените славы. Как это часто бывает со славой, его триумф был рожден неудачей. Припомним-ка: в восьмидесятые годы нашего века мир был поражен эпидемией спида, болезни, передающейся посредством любовных связей и попервоначалу свирепствовавшей особенно среди гомосексуалистов. Восставая против фанатиков, видевших в этой эпидемии справедливую кару Божью и бежавших от больных спидом, как от зачумленных, более или менее терпимые люди относились к ним по-братски и старались доказать, что контакт с ними не чреват никакой опасностью. Претворяя в жизнь свои убеждения, депутат Дюберк вместе с интеллектуалом Берком решили однажды отобедать в одном из знаменитых парижских ресторанов в компании больных спидом; обед прошел в самой дружеской атмосфере, и для того, чтобы подать добрый пример другим, депутат Дюберк пригласил к десерту фоторепор-

теров и киношников. Как только те появились на пороге, он встал, подошел к одному из спидоносцев, поднял его со стула и смачно поцеловал прямо в губы, еще лоснящиеся от шоколадного мусса. Эта смелая выходка застала Берка врасплох. Он тут же смекнул, что запечатленный на фото— и кинопленке поцелуй Дюберка имеет шансы на бессмертие. Он тоже встал и принялся лихорадочно соображать, не стоило ли бы и ему облобызаться со спидоносцем. Вначале он отверг сие искушение, поскольку в глубине души не был полностью уверен, что контакт со слизистой оболочкой больного полностью безопасен; затем решил побороть подозрение, полагая, что ради такой фотографии стоит все-таки рискнуть; на третьей фазе размышлений и колебаний его порыв к спидоносным устам был остановлен нижеследующей идеей: в свой черед расцеловавшись с больным, он отнюдь не сравняется с Дюберком, скорее наоборот — ему будет уготовлен ранг последователя, подражателя, а то и пародиста, который своей поспешной и необдуманной выходкой лишь прибавит славы начинателю. И он, глупо улыбаясь, так и остался стоять столбом. Но эти несколько минут нерешительности обошлись ему дорого, потому что

на него были нацелены кинокамеры, и вскоре в тележурнале вся Франция смотрела на его лицо, на все три фазы замешательства, смотрела — и ухмылялась. Ребятишки, собиравшие пакеты с рисом для Сомали, подоспели ему на помощь как раз вовремя. Он стал использовать каждый удобный случай, чтобы ошарашить публику глубокомысленным изречением «Только дети живут по правде!», а потом отправился в Африку, где снялся рядом с умирающей чернокожей девчушкой с лицом, облепленным мухами. Фотография прославилась на весь мир, прославилась куда сильнее, чем тот снимок, на котором Дюберк лобызается со спидоносцем, ибо умирающий ребенок имеет куда большую ценность, чем умирающий взрослый, — сия непреложная истина в тот момент все еще ускользала от Дюберка. Тем не менее он не чувствовал себя побежденным и несколько дней спустя появился на телеэкране; будучи ревностным христианином, он знал, что Берк — атеист, что навело его на мысль прихватить с собой в телестудию свечку, оружие, перед которым даже самые закоренелые безбожники не преминут склонить головы; во время интервью с журналистом он выудил ее из кармана и зажег; горя желанием коварно опорочить заботы Берка

об экзотических странах, он завел речь о горемычных детях деревень и предместий Франции и призвал соотечественников со свечами в руках продефилировать по улицам Парижа в знак солидарности с лишенными детства ребятишками; вслед за тем с затаенным злорадством он пригласил не кого иного, как Берка, возглавить эту демонстрацию. Перед Берком стал выбор: либо участвовать в шествии со свечками, превратившись таким образом в церковного служку при Дюберке, либо как-то отвертеться от этой затеи и стать мишенью для насмешек. То была искусно расставленная ловушка, выбраться из которой можно было лишь способом столь же смелым, сколь и неожиданным: он решил незамедлительно вылететь в одну из азиатских стран, где народ затеял революцию, и там во весь голос заявить о своей поддержке угнетенных; но — увы! — география всегда была его слабым местом; весь мир разделялся для него на Францию и не Францию с множеством безвестных провинций, которые вечно путались у него в голове; посему немудрено, что его занесло совсем в другую, мирную до скукоты страну, чей расположенный в горах аэропорт продувался ледяными ветрами и обслуживался из рук вон плохо; ему пришлось

проторчать там целую неделю, пока очередной самолет не доставил его в Париж; за это время он оголодал и подцепил простуду.

«Берк — король-мученик плясунов», — прокомментировал это событие Понтевен.

Понятие «плясун» известно лишь в узком кругу друзей Понтевена. Оно является его великим изобретением, и можно только сожалеть о том, что Понтевен не удосужился развить его в целой книге или использовать в качестве темы для международной конференции. Но ему плевать на общественное мнение. Ему достаточно друзей, выслушивающих его бредни с живейшим и неослабевающим интересом.

## 6

Всех теперешних политических деятелей, согласно Понтевену, можно в известной мере считать плясунами, а все плясуны вмешиваются в политику, из чего, разумеется, не следует, что одних можно путать с другими. Плясун отличается от заурядного политика тем, что он жаждет не власти, а славы; он не стремится навязать миру то или иное социальное устройство (оно беспокоит его куда меньше, чем собственный провал), он жаждет властвовать сценой, где могла бы вовсю развернуться его творческая личность.

Чтобы завладеть сценой, нужно вытолкать с нее всех соперников. Для этого требуется специальная техника борьбы. Борьбу, которую ведет плясун, Понтевен именует *моральным дзюдо;* плясун бросает перчатку всему миру: кто способен выказать себя более моральным (храбрым, порядочным, искренним, предрасположенным к жертве, правдивым), чем он? И он без зазрения совести использует все дозволенные и недозволенные приемы, разрешающие ему поставить противника в морально низшую позицию.

Если у плясуна появляется возможность за-

тесаться в политическую игру, он подчеркнуто отказывается от любых тайных переговоров (которые испокон веков служат полем игры истинной политики), объявляя их лживыми, бесчестными, лицемерными, грязными; он будет выдвигать свои предложения прилюдно, с эстрады, напевая и пританцовывая и призывая других последовать его примеру; я настаиваю: не сдержанно и скромно (давая оппоненту время поразмыслить, сформулировать контрпредложения), а публично и по возможности нахрапом: «Готовы ли вы (подобно мне) пожертвовать своим жалованьем за март месяц, чтобы помочь голодающим детям Сомали?» У ошарашенных оппонентов остаются всего две возможности: либо отказаться и тем самым выставить себя в роли детоненавистников, либо сказать «да», пребывая в чудовищном замешательстве, которое тут же будет запечатлено коварными кинокамерами, как они запечатлели колебания бедного Берка в конце обеда с носителями спида. «Как вы можете молчать, доктор N., если права человека попираются в вашей собственной стране?» Этот вопрос был задан доктору N. как раз в тот момент, когда он оперировал больного и не имел никакой возможности ответить; но, наложив швы

на вскрытый живот, он тут же проникся таким стыдом за свое молчание, что начал городить всю ту галиматью, которую от него хотели услышать, и даже больше; после чего обращающийся к нему плясун (это еще один приемчик *морального дзюдо,* особенно жестокий) процедил: «Ну наконец-то. Лучше поздно, чем никогда…»

Бывают ситуации (при диктаторских режимах, например), когда прилюдное заявление о своей позиции опасно; впрочем, для плясуна эта опасность не столь велика, как для других, ибо, пританцовывая в свете прожекторов, видимый отовсюду, он защищен вниманием всего мира, кроме того, у него есть масса анонимных обожателей, которые, повинуясь столь же похвальному, сколь и необдуманному порыву, подписывают воззвания, участвуют в запрещенных собраниях, проводят манифестации на улицах; их, разумеется, ждет беспощадная расправа, но плясун никогда не уступит сентиментальному искушению обвинить самого себя в том, что он стал причиной их невзгод, отлично зная, что благородная цель куда весомей, чем жизнь такого-то или такого-то человечишки.

Венсан возражал Понтевену: «Ни для кого не секрет, что ты терпеть не можешь Берка, а мы

следуем твоему примеру. И тем не менее, будь он хоть дурак дураком, ему случалось поддерживать положения, которые и мы считаем справедливыми; если тебе угодно, можешь считать, что поддерживало их его тщеславие. И вот что я хочу у тебя спросить: если ты считаешь необходимым вмешаться в общественный конфликт, привлечь всеобщее внимание к какому-нибудь безобразию, вступиться за гонимого, то как тебе, в наше-то время, не стать плясуном или, по крайней мере, не выдавать себя за такового?»

На что таинственный Понтевен отвечал: «Ты ошибаешься, полагая, будто я хочу их опорочить. Я на их стороне, я их защищаю. Тот, кто испытывает отвращение к плясунам и стремится их опорочить, неизменно наталкивается на непреодолимое препятствие: их личную порядочность; ибо, постоянно пребывая на глазах публики, плясун обрекает себя на репутацию существа во всех отношениях безупречного; Фауст заключил пакт с Дьяволом, плясун — с Ангелом: он хочет превратить собственную жизнь в произведение искусства, и в этой работе ему помогает Ангел; ибо не забывай, что пляска — это искусство! В том наваждении, которое заставляет плясуна видеть в собственной жизни лишь сырье для про-

изведения искусства, и состоит суть и сущность плясуна; он не проповедует мораль, он танцует. Он хочет взволновать и ослепить весь мир красотой своей жизни! Он влюблен в свою жизнь, как ваятель может быть влюблен в статую, которую он лепит».

## 7

Я часто задаюсь вопросом: отчего Понтевен так и не вынес на суд публики столь интересные идеи? А ведь ему, историку и доктору филологических наук, томящемуся от скуки в своем кабинете Национальной библиотеки, было бы проще простого это сделать. Мало сказать, что ему наплевать на обнародование своих теорий: одна мысль об этом внушает ему омерзение. Тот, кто выносит свои идеи на суд публики, как-никак рискует убедить других в собственной правоте, повлиять на них и таким образом оказаться в числе тех, которые силятся изменить мир. Изменить мир! С точки зрения Понтевена — это чудовищное намерение! Не потому, что мир, такой, какой он есть, представляется чем-то восхитительным, но потому, что всякое изменение в нем неизбежно ведет к худшему. И еще потому, что с точки зрения более эгоистической всякая идея, ставшая достоянием гласности, рано или поздно оборачивается против своего автора и лишает его того удовольствия, которое он испытывал, мысленно вынашивая ее. Ибо Понтевен принадлежит к числу виднейших учеников Эпикура: он порождает

и развивает свои идеи единственно потому, что это доставляет ему наслаждение. Он не презирает человечество, которое служит для него неиссякаемым источником добродушно-насмешливых наблюдений, но и не испытывает ни малейшего желания войти с ним в более тесный контакт. Он окружен компанией дружков, собирающихся в «Гасконском кафе»; этой малой крупицы человечества ему вполне достаточно.

Среди этих дружков Венсан — самый безобидный и трогательный. Ему я отдаю всю мою симпатию и могу упрекнуть его (с привкусом ревности, что верно, то верно) лишь в том полумальчишеском и, на мой взгляд, преувеличенном обожании, которое он питает к Понтевену. Но даже в такой дружбе есть нечто душещипательное. Поскольку беседуют они о множестве вещей, которые их интересуют — о философии, политике, книгах, — Венсан счастлив быть наедине со своим учителем; любопытных и соблазнительных идей у него хоть отбавляй, и Понтевен, завороженный ими не меньше, чем его ученик, поправляет его, вдохновляет, одобряет. Но стоит появиться кому-то третьему, как Венсан тут же скисает, потому что Понтевен мигом преображается, начинает говорить слишком громко,

становится занимательным, даже чересчур занимательным, с точки зрения Венсана.

Вот вам пример: они сидят вдвоем в кафе, и Венсан спрашивает: «Что ты думаешь на самом деле о событиях в Сомали?» Понтевен, набравшись терпения, читает ему целую лекцию о положении в Африке. Венсан находит возражения, они начинают спорить, пересмешничать, но не стараясь выказать себя с самой блестящей стороны, а только для того, чтобы не упустить нескольких мгновений разрядки в беседе по столь серьезному вопросу.

И тут появляется Машу в сопровождении прелестной незнакомки. Венсан рвется продолжать дискуссию: «Но скажи мне, Понтевен, не ошибаешься ли ты, утверждая, что…» — и он бросается в блестящую полемику с теориями своего друга.

Понтевен делает долгую паузу. В этом деле он мастак. Ему ли не знать, что только робкие, неуверенные в себе люди боятся пауз и, не зная, что ответить, начинают запутываться в бессвязных фразах, тем самым выставляя самих себя на смех. Что же касается Понтевена, то он умеет молчать столь царственно и властно, что даже сам Млечный Путь застывает от нетерпения, ожидая его ответа. Не проронив ни слова, он вперяет взор

в Венсана, который, сам не зная почему, стыдливо опускает глаза, потом, улыбаясь, начинает пялиться на даму и наконец снова обращается к Венсану, причем взгляд его таит наигранную просьбу: «Твоя манера в присутствии дамы настаивать на преувеличенно блестящих мыслях свидетельствует лишь о тревожном приливе твоего либидо».

На лице Машу появляется его знаменитая идиотская улыбочка, очаровательная дама обводит Венсана снисходительным и любопытствующим взглядом, Венсан краснеет как рак; он чувствует себя уязвленным: его друг, всего какую-нибудь минуту назад преисполненный к нему всяческого внимания, вдруг ни с того ни с сего окатывает его ушатом холодной воды только затем, чтобы позабавить какую-то незнакомку.

Потом появляются другие друзья, рассаживаются, затевают болтовню; Машу травит анекдоты, Гужар в коротких сухих репликах выставляет напоказ свою книжную эрудицию, раздается женский смех. Понтевен молчит, словно воды в рот набрал; он выжидает; когда его молчание достигает достаточной зрелости, он изрекает: «Моя малышка вечно требует от меня некоторой грубости в поведении».

Боже ты мой, каким тоном он умеет произносить подобные фразы! Даже посетители за соседними столиками смолкают и навостряют уши; в воздухе трепещет нетерпеливое хихиканье. Да что же забавного в том факте, что подружка Понтевена требует от него грубых замашек? Все дело, должно быть, в магии голоса, и Венсан тут же начинает мучиться от зависти, понимая, что его собственные голосовые данные в сравнении с данными Понтевена все равно что какая-нибудь простецкая дудка, дерзнувшая соперничать с виолончелью. Понтевен говорит негромко, никогда не повышая голоса, который, однако, наполняет весь зал и перекрывает все остальные звуки.

Он продолжает: «Грубое поведение… Но я не способен на такое! Я вовсе не груб! Я — сама утонченность!»

Хихиканье продолжает трепетать в воздухе, и, чтобы как следует им насладиться, Понтевен делает очередную паузу.

Потом говорит: «Время от времени ко мне забегает молоденькая машинистка. И вот однажды во время диктовки я схватил ее за волосы, стащил со стула и поволок в постель. Но на полпути отпустил и покатился со смеху: „Ах, какое недоразумение, ведь это не вы хотели от меня грубости.

Ах, простите меня, мадемуазель!“»

Все кафе разражается хохотом, даже Венсан, который снова полюбил своего учителя.

## 8

И, однако, на следующий день он сказал ему тоном упрека: «Понтевен, ты не только теоретик плясунов, но и сам великий плясун».

Понтевен (в легком замешательстве): «Ты валишь в одну кучу разные понятия».

Венсан: «Когда мы вместе, ты и я, и к нам присоединяется кто-то третий, пространство, в котором мы находимся, тут же разделяется на две части: вновь прибывший и я оказываемся в партере, а ты — ты выделываешь свои пируэты на сцене».

Понтевен: «Говорят же тебе, что ты валишь в одну кучу разные понятия. Термин „плясун“ приложим исключительно к эксгибиционистам общественной жизни. А у меня она не вызывает ничего, кроме отвращения».

Венсан: «Ты вел себя перед этой дамой точь-в-точь как Берк перед кинокамерой. Ты хотел выглядеть самым лучшим, самым умным. А по отношению ко мне не погнушался применить вульгарнейший прием *дзюдо эксгибиционистов*».

Понтевен: «Быть может, это было *дзюдо эксгибиционистов,* но не *моральное дзюдо!* Лишний

довод в пользу того, что ты ошибаешься, причисляя меня к плясунам. Ибо плясун хочет выглядеть более высокоморальным, чем все остальные. А я хочу казаться хуже, чем ты».

Понтевен (внезапно меняя прежний выспренний тон на самый что ни на есть искренний): «Если я задел тебя, Венсан, прости меня».

Венсан (мгновенно растроганный извинением Понтевена): «Мне не за что тебя прощать. Я знаю, что все это было шуткой».

То, что они встречались в «Гасконском кафе», не было случайностью. Среди их святых покровителей д'Артаньян был самым великим: покровителем дружбы, единственной ценности, которую они чтили как святыню.

Понтевен продолжает: «В самом широком смысле слова (и здесь ты, без сомнения, прав) плясун, конечно же, таится в каждом из нас, и я не могу с тобой не согласиться: когда на горизонте появляется женщина, я становлюсь плясуном в десять раз более ретивым, чем все другие. Что с этим поделаешь? Эта штука сильнее меня».

Растроганный до глубины души, Венсан дружески смеется, а Понтевен продолжает гнуть свое покаянным тоном: «Впрочем, поскольку я, как ты только что признал, являюсь великим тео-

ретиком плясунов, между ними и мной должна существовать хоть малая малость общего, без которой я не смог бы их понять. В этом я с тобой согласен, Венсан».

На этой стадии раскаявшегося друга Понтевен и впрямь становится теоретиком: «Но только самая малая малость, потому что в точном смысле, какой я вкладываю в это понятие, у меня нет ничего общего с плясуном. Я считаю не только возможным, но и вероятным, что истинный плясун, какой-нибудь Берк или Дюберк, оказавшись рядом с женщиной, не испытывает ни малейшего желания выставляться и соблазнять ее. Ему и в голову не придет плести ей ахинею про машинистку, которую он будто бы потащил за волосы в постель, спутав с другой барышней. Он горит желанием соблазнить публику, а это ведь не та или другая женщина, вполне конкретная и зримая, а несметная толпа невидимок. Послушай, да это же еще одна неразработанная глава из теории плясунов: публика-невидимка! Плясун заголяется не передо мной и не перед тобой, а перед всем миром. А что такое этот пресловутый „весь мир“? Безликая бесконечность! Чистая абстракция!»

В разгар их беседы появляется Гужар в компании с Машу, который прямо с порога обращается

к Венсану: «Ты, помнится, говорил мне, будто тебя пригласили на крупный конгресс энтомологов. Так вот, у меня новость: Берк тоже там будет».

Понтевен: «Опять он? Ну прямо какой-то вездесущий тип!»

Венсан: «Да что ему, черт возьми, там делать?»

Машу: «Ты сам энтомолог, тебе виднее».

Гужар: «Будучи студентом, он целый год занимался в школе высшей энтомологии. А теперь, наверно, надеется, что на этом конгрессе ему присудят звание почетного энтомолога».

«Нужно заявиться туда, — заключает Понтевен, — и устроить там форменный бордель. — И, оборачиваясь к Венсану: — А твоя задача — провести нас всех туда тайком, с черного входа!»

## 9

Вера уже спит; я открываю окно, выходящее в парк, и думаю о прогулке, которую когда-то совершили в нем мадам де Т. и ее юный кавалер, выйдя ночью из парка, об этой незабываемой прогулке в три этапа.

Первый этап: они гуляют рука об руку, беседуют, потом находят скамейку на лужайке, садятся на нее, не расплетая рук, продолжая беседовать. Стоит лунная ночь, сад террасами спускается к Сене, чье журчание сливается с шелестом деревьев. Попробуем уловить обрывки их разговора. Кавалер молит о поцелуе. Мадам де Т. отвечает: «Я бы не прочь, вы слишком возгордитесь, натолкнувшись на отказ. Ваше самолюбие внушит вам, будто я вас боюсь».

Все, что говорит мадам де Т., — это плод искусства, искусства беседы, не оставляющего ни один поступок без комментариев и постоянно работающего над его осмыслением; на сей раз, например, мадам де Т. награждает кавалера поцелуем, которого он у нее домогается, но перед этим предлагает своему согласию собственную интерпретацию: она позволяет себя поцеловать,

но лишь для того, чтобы удержать гордыню кавалера в границах благопристойности.

Когда, в результате умственной игры, она превращает поцелуй в акт сопротивления, никто не остается внакладе, и менее всего — сам кавалер; он должен принимать эти условия всерьез, ибо они составляют часть духовного демарша, на который ему надлежит реагировать другим духовным демаршем. Беседа — это не пустое времяпрепровождение, совсем наоборот: именно она-то и организует время, управляет им и диктует ему законы, которые то обязано соблюдать.

Конец первого этапа их ночи: за поцелуем, который она подарила кавалеру, чтобы он не слишком возгордился, следует другой, поцелуи «спешат, толпятся, прерывают беседу, занимают ее место…». Но вот дама встает и решает вернуться в замок.

Какое искусство мизансцены! После первого смятения чувств нужно было показать, что наслаждение любви еще не стало зрелым ее плодом; нужно было набить ему цену, сделать его более желанным, нужно было создать перипетию, обстановку напряжения и волнующего ожидания. Возвращаясь к замку вместе с кавалером, мадам де Т. разыгрывает возврат к нулевой точке их

отношений, прекрасно сознавая, что в последний момент она будет в силах изменить ситуацию и продолжить их свидание. Для этого довольно всего одной фразы, одной краткой формулы, которых вековое искусство беседы накопило десятки. Но как бы в силу неожиданного заговора, непредвиденной нехватки вдохновения она не может вспомнить ни одной. Она оказывается в положении актрисы, внезапно позабывшей свою роль. Ведь ей нужно знать ее назубок: те времена совсем не похожи на наши, когда девице достаточно сказать: ты хочешь, я хочу, так чего же нам терять время! Для мадам де Т. и ее кавалера подобная откровенность была запретным барьером, преодолеть который они не могли, несмотря на все свои вольнодумные убеждения. Если же ни одному, ни другому не приходит вовремя в голову никакой подходящей мысли, если они не могут найти никакого повода для продолжения прогулки, им остается, в силу простой логики их взаимного молчания, вернуться в замок и разойтись по своим покоям. Чем настойчивей оба они ищут предлог, чтобы остановиться и заговорить вслух, тем сильнее ощущают, что их уста скованы: все слова, которые могли бы прийти им на помощь, попрятались кто куда, и обоим осталось

только безнадежно взывать к ним о помощи. Вот почему, дойдя до ворот замка, «словно повинуясь безмолвному сговору, мы замедлили шаги».

К счастью, в последний момент в сознании дамы словно бы проснулся некий внутренний суфлер и она вспомнила свою роль, обратившись к спутнику с упреком: «Я не очень-то довольна вами…» Наконец-то, наконец! Еще одно усилие — и все будет спасено! Она сердится! Она отыскала повод надуманного раздражения, которое позволит продолжить их прогулку; она была искренна с ним, так отчего же он не сказал ей ни слова о Графине, своей возлюбленной? Скорей, скорей, нужно объясниться! Нужно хоть что-нибудь сказать! Беседа завязывается вновь, и они вновь удаляются от замка той дорогой, которая, на сей раз безо всяких препятствий и ловушек, приведет их в объятия любви.

## 10

Беседуя, мадам де Т. нащупывает почву, подготавливает ближайшую фазу событий, намекает своему партнеру на то, что он должен думать и как действовать. Все это она проделывает с такой тонкостью, с такой элегантностью и так отстраненно, словно речь идет совсем о других вещах. Она говорит ему об эгоистичной холодности Графини, чтобы освободить его от долга верности и как следует встряхнуть в предчувствии готовящегося ею ночного приключения. Она организует не только непосредственное будущее и будущее более отдаленное, давая понять кавалеру, что она ни в коем случае не хочет стать конкуренткой Графини, с которой он не должен расставаться. Она преподает ему краткий курс сентиментального воспитания, преподает свою практическую философию любви, которую должно избавить от тирании моральных правил и уберечь посредством соблюдения тайны, скрытности, которые изо всех добродетелей являются наивысшими. И, вполне естественно, она объясняет ему, как именно он должен будет наутро вести себя с ее мужем.

Вы удивляетесь: где в этом пространстве, столь разумно организованном, обихоженном, расчерченном, просчитанном и вымеренном, может отыскаться местечко для порыва, безумства, ослепленности страстью, для «сумасшедшей любви», которую так боготворят сюрреалисты, где может сыскаться там пристанище для самозабвения? Куда подевались они, все эти добродетели безрассудства, составляющие суть нашего понимания любви? Им нет здесь места. Ибо мадам де Т. — это владычица разума. Не той безжалостной рассудочности, которой наделена маркиза де Мертей, а разума кроткого и нежного, чье наивысшее назначение состоит в покровительстве любви.

Я вижу, как она ведет своего кавалера в лунной ночи. Вот она останавливается и указывает ему на очертания кровли, вырисовывающейся перед ними в полумраке; ах, скольких сладостных мигов был свидетелем этот кров, этот павильон, жаль только, шепчет она кавалеру, что у нее нет ключа от этой обители. Они подходят к дверям и — о чудо, о неожиданность! — павильон оказывается незапертым.

Почему она сказала ему, что у нее нет ключа? Почему сразу же не сообщила, что павильон

давно уже не запирается? Все было заранее подготовлено, улажено, инсценировано, сфабриковано; здесь нет ни грана простодушия, здесь все дышит искусством, в данном случае — искусством продления напряженного ожидания или, точнее говоря, искусством сколь можно долгого сохранения возбуждения.

## 11

Хотя никакого описания внешности мадам де Т. у Денона не приводится, одно мне кажется несомненным: она не может быть худенькой; я предполагаю, что она обладает «станом плотным и гибким» (именно этими словами Лакло характеризует самое желанное женское тело в «Опасных связях») и что телесная округлость порождает закругленность и неспешность движений и жестов. От нее исходит аура сладостной лени. Она владеет мудростью медлительности и заправляет всей техникой замедления. Все это особенно отчетливо доказывается в описании второго этапа ночи, проведенного в павильоне: они входят, обнимаются, падают на кушетку, предаются любви. Но «все это было чуточку резковато. Мы чувствуем здесь нашу вину (…) Кто чересчур пылок, от того нельзя требовать излишней деликатности. Мы спешим к наивысшему наслаждению, пренебрегая иными радостями, что ему предшествуют».

Поспешность, послужившая причиной утраты сладостной медлительности, с самого начала ощущалась ими как некая вина или промах, но

я не думаю, что мадам де Т. была слишком уж ею удивлена; мне представляется, что эта ошибка казалась ей неотвратимой, фатальной, что она внутренне была к ней готова и что именно по сей причине предусмотрела интермедию в павильоне как некое ritardando,[1] чтобы с наступлением третьего этапа, который должен разыграться в новых декорациях, их приключение могло расцвести во всей своей роскошной неспешности.

Она прерывает любовь в павильоне, выходит вместе с кавалером, снова прогуливается рука об руку с ним, усаживается на скамью посреди газона, возобновляет беседу, а потом ведет его в замок, в потайной кабинет, примыкающий к ее покоям, который некогда был обустроен ее мужем как волшебный храм любви. Переступив порог, кавалер застывает в изумлении: зеркала, сплошь покрывающие стены, множат их образ, так что кажется, будто вокруг обнимается бесконечное скопище влюбленных пар. Но предаваться любви они будут не здесь; судя по всему, мадам де Т. хотела избежать слишком бурного взрыва чувств, и, чтобы елико возможно продлить миги возбуж-

**[1] Примечания: 1**

Замедленные действия, перерыв. *(ит.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

дения, она ведет кавалера в смежное помещение, нечто вроде грота, погруженного в полумрак и выложенного подушками; именно там они занимаются любовью, занимаются долго и неспешно, вплоть до раннего утра.

Замедляя течение этой ночи, разделив ее на отдельные, не связанные один с другим этапы, мадам де Т. сумела превратить кратчайший из предоставленных им отрезков времени в своего рода крохотное архитектурное чудо, в некую совершенную форму. Запечатлеть форму во времени — вот основное требование как красоты, так и памяти. Ибо то, что бесформенно, — неуловимо и незапоминаемо. Представить их свидание как форму было особенно ценным для них обоих, поскольку этой ночи не суждено было иметь продолжение, она могла повториться лишь в воспоминаниях.

Есть таинственная связь между медлительностью и памятью, между спешкой и забвением. Напомним самую что ни на есть банальную ситуацию. Человек идет по улице. Ни с того ни с сего он пытается вспомнить о чем-то, но воспоминание ускользает от него. В этот момент он машинально замедляет шаги. И наоборот, некто, пытающийся забыть недавнее неприятное про-

исшествие, помимо собственной воли ускоряет шаги, словно пытаясь убежать от того, что находится слишком близко от него во времени.

В экзистенциальной математике этот опыт принимает форму двух элементарных уравнений: степень медлительности прямо пропорциональна интенсивности памяти; степень спешки прямо пропорциональна силе забвения.

## 12

Возможно, что при жизни Вивана Денона только узкий круг посвященных знал, что он — автор новеллы «Никакого завтра»; завеса тайны была приподнята для всех и (возможно) раз и навсегда лишь спустя много лет после его смерти. Судьба новеллы, стало быть, странным образом схожа с рассказанной в ней историей: она погружена в полумрак тайны, умолчания, мистификации, анонимности.

Гравер, рисовальщик, дипломат, путешественник, знаток искусств, салонный чаровник, человек примечательной судьбы, Денон никогда не претендовал на эту новеллу как на свою художественную собственность. Не то чтобы он отказывался от славы, просто она в те времена значила нечто другое, чем теперь; я воображаю, что публика, которая была ему небезразлична, которую он хотел бы соблазнить, была не безымянной толпой, к какой вожделеет современный писатель, а узкой компанией тех людей, которых он мог лично знать и уважать. Удовлетворение от успеха среди читателей почти не отличалось от того удовольствия, которое он мог испытывать

в кругу нескольких слушателей, собравшихся в каком-нибудь салоне, где он блистал.

Есть разница между славой до изобретения фотографии и славой в те времена, когда она уже существовала. Чешский король Вацлав, живший в XIV веке, любил посещать харчевни и, сохраняя инкогнито, беседовать с простонародьем. Английский принц Чарльз, не обладающий ни властью, ни свободой, пользуется немыслимой славой: ни в девственном лесу, ни в ванной комнате, устроенной на семнадцатом уровне подземного бункера, он не может уберечься от чужих взоров, которые повсюду преследуют его. Слава пожрала всю его свободу, и теперь он знает: только пустопорожние умы могут сегодня согласиться добровольно волочить за собой звонкую жестянку известности.

Вы скажете, что если характер славы претерпевает изменения, то это касается лишь немногих привилегированных персон. Вы ошибаетесь. Ибо слава имеет касательство не только к знаменитостям, она задевает всех и каждого. Сегодня знаменитости заполонили экраны телевизоров, страницы иллюстрированных журналов, завладели воображением всего света. И весь свет, пусть лишь в своих грезах, только и мечтает о том,

чтобы стать объектом подобной славы (не славы короля Вацлава, таскавшегося по пивнушкам, а славы принца Чарльза, прячущегося в ванной на семнадцатом подземном уровне). Эта возможность подобно тени преследует всех и каждого, изменяя жизнь людей целиком; ибо (и это еще одно общеизвестное определение экзистенциальной математики) всякая новая экзистенциальная возможность, будь она самой маловероятной, коренным образом изменяет существование.

## 13

Понтевен, может статься, был бы менее жесток по отношению к Берку, знай он, сколько лиха пришлось совсем недавно хлебнуть этому интеллектуалу от некой Иммакулаты, своей прежней одноклассницы, которую он, будучи еще школьником, (безуспешно) домогался.

Лет через двадцать, в один прекрасный день Иммакулата увидела на телеэкране Берка, сгоняющего мух с личика чернокожей девочки; это подействовало на нее как своего рода озарение. До нее сразу же дошло, что она всегда его любила. В тот же день она настрочила ему письмо, где напомнила об их тогдашней «невинной любви». Но Берк отлично помнил, что его любовь, не имея ничего общего с невинностью, была чертовски похотливой; помнил он и то, каким униженным он себя чувствовал, когда Иммакулата безжалостно оттолкнула его. Этот отказ, между прочим, послужил причиной того, что он, воспользовавшись несколько комичным именем португальской служанки ее родителей, дал своей даме сердца одновременно сатирическую и меланхолическую кличку «Иммакулата», то есть

«Непорочная». На ее письмо он отреагировал более чем прохладно и не ответил на него (забавно, что ему не хватило и двадцати лет, чтобы полностью переварить старую обиду).

Его молчание взволновало ее сверх меры, и в следующем послании она напомнила ему об огромном количестве любовных записочек, которые он ей когда-то посылал. В одной из них он называл ее «ночной певуньей, тревожащей мои сны». Эта фраза, давным-давно забытая, показалась ему теперь невыносимо дурацкой, и он подумал, как невежливо с ее стороны напоминать ему подобные перлы. Позже, судя по доходившим до него слухам, он понял, что всякий раз, когда ему случалось появляться на телеэкране, эта женщина, которую он никогда и ничем не опорочил, начинала болтать на очередном званом обеде о невинной любви знаменитого Берка, который в свое время страдал бессонницей, оттого что она тревожила его сны. Он почувствовал себя нагим и беззащитным. Впервые в жизни он испытал сильнейшее влечение к анонимности.

В третьем письме она попросила его об одной услуге; не для себя самой, разумеется, а для своей соседки, бедной женщины, за которой из рук вон плохо присматривали в больнице; она не только

чуть не умерла от плохо сделанной анестезии, но ей было отказано в малейшем возмещении убытков от этой халатности. Если Берк так трогательно заботится об африканских детях, пусть он докажет, что ему небезразлична и судьба его простых соотечественников, хотя они не могут дать ему повод покрасоваться перед телекамерой.

Потом эта женщина написала ему собственноручно, называя себя Иммакулатой: «… вы ведь помните, сударь, ту девушку, которую вы называли своей непорочной девой, тревожащей ваши ночи». Нет, вы только подумайте, возможно ли такое? Возможно ли? Мечась из угла в угол своей квартиры, Берк стонал и изрыгал проклятья. Он разорвал письмо, плюнул на обрывки и выкинул их на помойку.

Как-то он узнал от директора одного из телеканалов, что некая постановщица хочет сделать о нем передачу. С раздражением вспомнил он ироническую ремарку о своей страсти красоваться перед телекамерой, ибо постановщицей, затеявшей эту передачу, оказалась не кто иная, как певунья его ночей, Иммакулата собственной персоной! Ситуация довольно неприятная: в принципе ему льстило предложение снять о нем фильм, потому что он всегда хотел превратить

свою жизнь в произведение искусства; но до сей поры ему и в голову не приходило, что это может быть произведение комического жанра! Внезапно оказавшись лицом к лицу с подобной опасностью, он решил держать Иммакулату подальше от своей жизни и попросил директора (тот был удивлен его скромностью) отложить этот проект, слишком преждевременный для столь молодого и малозначительного человека, как он.

## 14

Эта история напоминает мне другую, с которой мне посчастливилось познакомиться благодаря книжным шкафам, которыми заставлена вся квартира Гужара. Однажды, когда я пожаловался ему на свой сплин, он подвел меня к этажерке с надписью, сделанной его рукою: «Шедевры непредумышленного юмора», и выудил из нее книжку, написанную в 1972 году некой парижской журналисткой, в которой она распинается о своей любви к Киссинджеру, если вам еще памятно имя знаменитого политического деятеля той эпохи, советника президента Никсона, устроителя мира между Америкой и Вьетнамом.

Вот эта история: журналистка прибывает к Киссинджеру в Вашингтон, чтобы провести с ним интервью — сначала для журнала, потом для телевидения. Они встречались неоднократно, ни разу не переступив рамок чисто профессиональных отношений: один или два обеда для подготовки телепередачи, несколько визитов в его кабинет в Белом доме, в его частную резиденцию, сперва в одиночку, потом в сопровождении бригады киношников, и т.д. Мало-помалу она

осточертела Киссинджеру. Он не дурак, он понимает, чего, в сущности, ей от него надо, и, чтобы держать ее на расстоянии, делает ей красноречивые замечания насчет притягательности власти для женщин и о своем положении, обязывающем его отказаться от личной жизни.

Она с трогательной искренностью сообщает обо всех этих увертках, которые, впрочем, нисколько ее не обескураживают ввиду ее неколебимой уверенности в том, что они созданы друг для друга. А то, что он осторожен и недоверчив по отношению к ней, это ее не удивляет: она отлично понимает, что нужно думать о тех стервах, с которыми он имел дело раньше; она уверена, что в тот миг, когда до него дойдет, как она его любит, все его страхи рассеются, он забудет обо всех своих опасениях. Ах, она так уверена в чистоте своей собственной любви! Она могла бы поклясться: речь ни в коем случае не может идти об эротическом наваждении с ее стороны, «в сексуальном отношении он оставлял меня равнодушной», — пишет она и многократно повторяет (с забавным материнским садизмом): он небрежно одевается, он некрасив, у него дурной вкус в отношении женщин; «каким же никчемным должен он быть любовником», — заявляет

она, сообщая при этом, что все более и более в него влюблена. У нее двое детей, у него тоже, она планирует, не заручаясь его согласием, провести отпуск совместно на Лазурном берегу и заранее радуется, что оба младших Киссинджера смогут, кстати, как следует подучить французский.

Однажды она посылает своих киношников заснять резиденцию Киссинджера, который, не в силах сдерживаться, выгоняет их, словно банду докучливых наглецов. В другой раз он приглашает ее к себе в кабинет и сообщает ей исключительно строгим и холодным тоном, что он не собирается более терпеть ее двусмысленное поведение. Поначалу она приходит в подлинное отчаянье. Но тут же берет себя в руки и начинает рассуждать так: ее наверняка считают политически опасной, и Киссинджер получил от контрразведки предписания, запрещающие ему все контакты с ней; кабинет, где они сейчас беседуют, буквально напичкан микрофонами, и ему это известно; стало быть, его невероятно жестокие фразы обращены не к ней, а к невидимым агентам, которые их подслушивают. Она смотрит на него с понимающей и меланхолической улыбкой; сцена в ее глазах кажется озаренной отсветом трагической красоты (она

часто употребляет это прилагательное): он старается нанести ей удар за ударом, и в то же время его взгляд свидетельствует о любви.

Гужар смеется, но я говорю ему: очевидная истина о реальной ситуации, сквозящая в грезах влюбленной женщины, не столь важна, как это представляется; это истина мелочная, приземленная, бледнеющая в сравнении с другой, более возвышенной, которой суждено устоять под напором времени, — истиной Книги. Уже во время первой встречи с ее кумиром эта книга незримо властвовала в кабинете, на маленьком столике между собеседниками, будучи с данного момента невысказанной и бессознательной целью всего этого приключения. Книга? Зачем она? Чтобы нарисовать портрет Киссинджера? Да нет, ей абсолютно нечего сказать о нем. Ее сердце томила одна забота — высказать собственную истину, истину о себе самой. Она не вожделела к Киссинджеру и меньше всего — к его телу («каким же никчемным должен он быть любовником»); она стремилась к расширению собственного «я», жаждала вывести его за пределы узкого круга своей жизни, облечь сиянием и блеском, преобразить в луч света. Киссинджер был для нее всего лишь мифологическим верховым животным,

крылатым конем, на котором ее «я» должно совершить великий полет к небесам.

«Она была просто дурой», — сухо заключает Гужар, насмехаясь над моими прекраснодушными объяснениями.

«Ну уж нет, — говорю я, — свидетели подтверждают, что она была умна. Речь идет вовсе не о глупости. Она была уверена в своем избранничестве».

## 15

Избранничество — понятие теологическое; оно означает, что, не имея никаких заслуг, посредством сверхъестественного решения, свободной или, вернее, своевольной волей Божьей ты избран для чего-то исключительного, из ряда вон выходящего. Святые черпали в этом убеждении силу, помогавшую им претерпевать самые жестокие пытки. Теологические понятия отражаются как самопародия в тривиальности наших жизней; каждый из нас страдает (более или менее) от низости своей слишком заурядной жизни и хочет вырваться за ее пределы, воспарить над ними. Каждый из нас питает иллюзию (более или менее стойкую), что он достоин такого воспарения, что он избран и предназначен для него.

Чувство избранничества присутствует, например, во всех любовных отношениях. Ибо любовь, по определению, это ничем не заслуженный дар; незаслуженная любовь — это само доказательство ее подлинности. Если женщина говорит мне: я люблю тебя, потому что ты умен и честен, потому что ты покупаешь мне подарки, потому что не волочишься за другими, потому что ты

моешь посуду, — я испытываю разочарование: такая любовь отдает корыстью. Куда приятней услышать: я без ума от тебя, хотя ты не умен и не порядочен, хотя ты лгун, эгоист и мерзавец.

Быть может, человек впервые проникается иллюзией избранничества, будучи еще грудным младенцем, проникается благодаря материнским заботам, которых он ничем не заслужил и оттого требует их с особенной настырностью. Воспитание призвано избавить его от этой иллюзии, дав понять, что за все в жизни надо расплачиваться. Но зачастую эти уроки бывают слишком запоздалыми. Вам наверняка приходилось видеть девчонку лет десяти, которая, горя желанием навязать свою волю подружкам, за неимением более веских аргументов повторяет как можно громче с необъяснимой гордыней: «Потому что это я тебе говорю» или «Потому что я так хочу». Она чувствует себя избранницей. Но придет день, когда она в очередной раз воскликнет: «Потому что я так хочу», а все вокруг только прыснут со смеху. Что может сделать тот, кто чувствует себя избранным, чтобы доказать свое избранничество, чтобы внушить самому себе и другим, что он не принадлежит к заурядному большинству?

Вот тут-то эпоха, основанная на изобретении

фотографии, и приходит к нему на помощь вместе со всеми своими кинозвездами, танцовщиками и прочими знаменитостями, чьи образы, спроецированные на огромный экран, видимы всеми издалека, вызывают восхищение у всех и в то же время остаются для всех недостижимыми. Не сводя восхищенного взгляда с этих знаменитостей, тот, кто возомнил себя избранным, публично проявляет свою причастность к необыкновенному и одновременно отстраненность от обыденного, конкретным образом воплощенного в его соседях, коллегах, партнерах, с которыми ему (ей) приходится жить.

Таким образом, знаменитости превратились в некий общественный институт, подобный санитарной службе, органам социального обеспечения, страховым агентствам или приютам для слабоумных. Но этот институт полезен лишь при условии собственной недосягаемости. Когда кто-нибудь хочет подтвердить свое избранничество посредством прямого, личного контакта с той или иной знаменитостью, он рискует быть выставленным за порог, как несостоявшаяся любовница Киссинджера. Эта отставка на языке теологии называется грехопадением. Вот почему влюбившаяся в Киссинджера журналистка

открыто и вполне справедливо называет свою любовь трагической, ибо падение, как бы там ни насмехался над ним Гужар, трагично по определению.

До того момента, когда она поняла, что влюблена в Берка, Иммакулата жила жизнью большинства женщин: несколько браков, несколько разводов, несколько любовников, приносивших ей разочарование столь же постоянное, сколь мирное и почти приятное. Последний из этих кавалеров прямо-таки обожал ее; она переносила его легче, чем других, не только из-за его покорности, но и по причине его полезности: это был опытный киношник, который очень помог ей в ту пору, когда она начала работать на телевидении. Он был немногим старше ее, но казался вечным студентом, втюрившимся в нее по уши; он считал ее самой красивой, самой умной и (особенно) самой чувствительной из всех женщин.

Чувствительность его возлюбленной представлялась ему чем-то вроде пейзажа немецкого живописца-романтика: деревья с невообразимо узловатыми стволами, а над ними, вверху, далекое голубое небо, обиталище Бога; всякий раз, когда он входил в этот пейзаж, его охватывало неодолимое желание пасть на колени и остаться

там лицом к лицу с божественным чудом.

## 16

Холл мало-помалу заполнялся, прибыло много французских энтомологов, были и иностранцы, в том числе один чех лет шестидесяти, о котором говорили, что это важная персона нового режима, быть может, министр, или президент академии наук, или уж, по крайней мере, ученый, числящийся в членах этой самой академии. Во всяком случае, хотя бы с точки зрения простого любопытства, то был самый интересный персонаж данного собрания (он представлял собой новую историческую эпоху, пришедшую на смену коммунизму, который канул в ночь времен); однако среди говорливой толпы он казался совсем одиноким — прямой, высоченный, неуклюжий. Все участники конференции считали своим долгом пожать ему руку и задать несколько вопросов, но обмен мнениями обрывался гораздо раньше, чем они ожидали, и после трех-четырех первых фраз никто уже не знал, о чем с ним можно говорить. Потому что в конце концов у них не оказывалось общих тем для разговора. Французы поспешно возвращались к своим собственным проблемам, он пытался было последовать их примеру, время

от времени повторяя «а вот у нас, напротив…», но вскоре сообразил, что никому нет дела до того, что происходит «у нас, напротив», и отошел в сторонку; лицо его было подернуто дымкой меланхолии, но не горькой или мучительной, а ясной и почти снисходительной.

Пока все прочие шумно заполняли холл и находящийся в нем бар, он проходит в пустой зал, где четыре длинных стола, составленные квадратом, ожидают открытия конференции. Возле двери стоит маленький столик со списком приглашенных, за которым томится барышня, такая же неприкаянная, как и он сам. Он кланяется ей и представляется. Она просит его повторить свое имя еще дважды. На третью попытку она не отваживается и принимается наугад искать в списке имя, хоть чем-то напоминающее услышанные звуки. Исполненный отеческой любезности, чешский ученый склоняется над списком, находит свое имя и тычет в него указательным пальцем:

— ЧЕХОРЖИПСКИ.

— Ах, мсье Сешорипи? — переспрашивает она.

— Нужно произносить: Tche-kho-rjips-qui.

— Ох, это не так-то легко.

— Нет ничего легче! К тому же моя фамилия неправильно написана. — Он берет лежащую

на столике ручку и пририсовывает над буквами «c» и «r» маленькие значки, нечто вроде перевернутого вверх ногами французского аксан сирконфлекса.

Барышня смотрит на значки, смотрит на ученого и вздыхает:

— Это очень сложно.

— Напротив, это проще простого. Вы знаете Яна Гуса?

Секретарша быстро пробегает взглядом список приглашенных, а чешский ученый спешит объяснить ей суть дела:

— Как вам известно, это был великий реформатор Церкви в XIV веке. Предшественник Лютера. Профессор Карлова университета, который, как вы знаете, был первым университетом, основанным в Священной Римской империи. Но вы наверняка не слыхали, что Ян Гус был в то же время великим реформатором орфографии. Он умудрился упростить ее до крайности. Чтобы написать то, что вы произносите как «ч», вам приходится употреблять три буквы: t, c, h. А немцы нуждаются в четырех буквах: t, s, c, h. А вот нам, благодаря Яну Гусу, достаточно всего одной буквы «c» с вот таким маленьким значком над ней.

Профессор снова склоняется над столиком

секретарши и пишет на полях очень большую букву «с» с опрокинутым аксан сирконфлексом над ней: «Č»; потом он смотрит ей прямо в глаза и произносит громким и внятным голосом:

— Tch!

Секретарша тоже смотрит ему в глаза и повторяет:

— Tch.

— Вот так. Великолепно!

— Да, это и в самом деле очень практично. Жаль, что реформа Лютера известна только у вас.

— Реформа Яна Гуса, — говорит ученый, делая вид, что не заметил бестактности француженки, — не осталась полностью неизвестной. Есть еще одна страна, где она нашла употребление; вы, конечно, знаете, о какой стране я говорю.

— Нет.

— О Литве!

— О Литве? — повторяет секретарша, тщетно напрягая память, чтобы сообразить, в каком краю Земли расположена эта страна.

— И в Латвии тоже. Теперь вам понятно, почему мы, чехи, так гордимся этими крохотными значками. (С улыбкой.) Мы готовы предать все на свете. Но за эти закорючки будем биться до последней капли крови.

Он кланяется барышне и направляется к прямоугольнику, состоящему из столов. Перед каждым креслом лежит карточка с фамилией. Он отыскивает свою, внимательно смотрит на нее, потом берет двумя пальцами и с грустноватой, но прощающей улыбкой идет показывать секретарше.

Тем временем у столика возле двери останавливается другой энтомолог, ожидая, когда она поставит крестик против его фамилии. Завидев направляющегося к ней чешского ученого, она спешит извиниться:

— Минуточку, мсье Чипики!

Тот великодушно кивает, как бы говоря: не беспокойтесь, барышня, я никуда не спешу. Терпеливо и не без трогательной скромности он становится возле столика (в это время в зал входят еще два энтомолога) и, когда секретарша наконец освобождается, протягивает ей карточку:

— Посмотрите, как это забавно, не правда ли?

Она глядит на карточку, так ничего толком и не понимая:

— Но это же, мсье Шенипики, просто-напросто аксаны.

— Да, но аксаны обычные. Их забыли перевернуть вверх ногами. И обратите внимание, куда их поместили. Над буквами «е» и «о»: Cêchôripsky!

— Да, да, вы правы! — возмущается секретарша.

— Хотелось бы мне знать, — продолжает чешский ученый, все больше и больше грустнея, — почему об этих значках всегда забывают. А ведь они так поэтичны, эти повернутые вверх ногами аксаны! Как вам кажется? Ни дать ни взять птицы в воздухе. Голуби с расправленными крыльями! (Нежнейшим голосом.) Или, если вам угодно, бабочки.

И он в который раз склоняется над столиком, чтобы, взяв ручку, исправить на карточке орфографию своей фамилии. Он проделывает эту операцию скромно, словно извиняясь, затем, ни слова не говоря, удаляется.

Глядя вслед его крупной, забавной, бесформенной фигуре, секретарша внезапно ощущает прилив материнской нежности. Она воображает себе перевернутый аксан сирконфлекс, который наподобие мотылька порхает вокруг ученого и в конце концов садится на его седую гриву.

Подходя к своему креслу, чешский ученый оборачивается и видит умиленную улыбку секретарши. В ответ он посылает ей одну за другой целых три улыбки, меланхоличных и в то же время гордых. Меланхоличная гордость — вот

как можно было бы определить натуру чешского ученого.

## 17

То, что он поддался меланхолии, увидев неправильно расставленные значки над своей фамилией, — это понятно всякому. Но откуда взялась его гордость?

Вот основной факт его биографии: вскоре после русского вторжения 1968 года он был выставлен из энтомологического института и ему пришлось стать строительным рабочим; такое положение продолжалось до конца оккупации в 1989 году, то есть почти двадцать лет.

Но разве в Америке, во Франции, в Испании, да мало ли где еще сотни и тысячи людей постоянно не теряют своих постов? Им это, разумеется, не в радость, но никакой гордости от этого они не испытывают. Почему же чешский ученый превратил свою отставку в источник гордости?

Потому что его выгнали с работы не по экономическим, а по политическим мотивам.

Ладно, пусть будет так. Но в этом случае требуется объяснить, почему же беда, вызванная экономическими причинами, считается менее серьезной и менее трагичной? Дипломированный специалист, не угодивший своему начальству,

должен испытывать стыд, а тот, кто потерял пост по причине своих политических взглядов, имеет право этим гордиться. Почему?

Потому что при увольнении по экономическим причинам уволенный играет пассивную роль, в его позиции нет элемента бунтарства, которым можно было бы восхищаться.

Это кажется очевидным, но таковым не является. Ибо чешский ученый, выгнанный с работы после событий 1968 года, когда русская армия установила в стране ненавистный режим, тоже не совершил ничего храброго и мужественного. Будучи руководителем одного из отделов энтомологического института, наш герой не интересовался ничем, кроме своих мушек. И вот в один прекрасный день совершенно неожиданно в его кабинет врывается десяток влиятельных противников режима, которые просят предоставить одну из аудиторий для своих полуподпольных собраний. Они действуют согласно правилу *морального дзюдо:* застать человека врасплох, выступив в роли небольшой кучки наблюдателей. Неожиданное противостояние повергает ученого в полное замешательство. Сказать «да» — значит пойти на большой риск: он может тут же потерять свой пост, трое его детей не смогут

поступить в университет. Но сказать «нет» этой кучке наблюдателей, заранее насмехающихся над его трусостью, он тоже не смог: не хватило мужества. В конце концов он согласился и запрезирал себя за свою робость, слабость, неспособность противиться чужой воле. Стало быть, если выражаться как можно более точно, именно благодаря своей трусости он был выгнан с работы, а его дети — из школы.

Так чем же, черт побери, здесь гордиться?

Дело в том, что чем больше проходило времени, тем больше он забывал свое первоначальное отвращение к оппозиционерам, тем больше привыкал видеть в своем «да» сознательный и добровольный акт, выражение его личного протеста против ненавистного режима. Таким образом, он причислил себя к тем, кому было суждено взойти на великие подмостки Истории, и в этой уверенности черпал свою гордость.

Но разве не правда, что из века в век бесчисленное множество людей вмешиваются в бесчисленные политические конфликты и, стало быть, могут гордиться своим присутствием на сцене Истории?

Мне следовало бы уточнить мое положение: гордость чешского ученого обусловлена тем

фактором, что он вышел на сцену Истории не когда-нибудь, а именно в тот момент, когда она была ярко освещена. Ярко освещенная историческая сцена называется Всемирно-Исторической Актуальностью. Прага 1968 года, озаренная прожекторами и простреливаемая кинокамерами, была наитипичнейшей Всемирно-Исторической Актуальностью, и чешский ученый был горд тем, что до сих пор ощущает ее поцелуй на своем челе.

Но вдумаемся в тот факт, что важные торговые переговоры или встречи на высшем уровне сильных мира сего тоже освещены, засняты на кинопленку, откомментированы; отчего же они не пробуждают у действующих лиц того же волнующего чувства гордости?

Спешу внести последнее уточнение: чешский ученый помимо своей воли оказался причастным не к какой-нибудь Всемирно-Исторической Актуальности, а к той, которую именуют Наивысшей. Актуальность становится Наивысшей, когда человек, находящийся на авансцене, страдает, слыша за кулисами треск перестрелки и видя, как над подмостками витает Архангел смерти.

Итак, вот вам окончательная формулировка: чешский ученый горд тем, что по милости Гос-

подней стал причастным к Наивысшей Всемирно-Исторической Актуальности. И он прекрасно понимает, что именно эта милость отличает его от всех норвежцев и датчан, французов и англичан, присутствующих в зале.

## 18

За столом президиума есть место, на котором сменяют друг друга выступающие, но он не слушает их. Он ждет своей очереди, время от времени ощупывая карман с пятью листками небольшого доклада, который, как он понимает, не представляет собой ничего особенного: будучи отстранен от научной работы на целых двадцать лет, он мог лишь резюмировать тот материал, который был опубликован в ту пору, когда он, молодой исследователь, открыл и описал неизвестный вид мух, названный им *musca pragensis.*[2] И вот наконец, услышав, как председательствующий произносит нечто похожее на его имя, он встает и направляется к месту, предназначенному для выступающих.

В течение двадцати секунд, необходимых для его перемещения, с ним происходит нечто неожиданное: он чуть не падает в обморок от волнения. Боже мой, после стольких лет, проведенных впустую, он снова находится среди людей, которых он уважает и которые уважают его, среди ученых,

---

**[2] Примечания: 2**
Пражская муха *(лат.).*

из чьей дружеской среды вырвала его судьба; добравшись до предназначавшегося ему свободного кресла, он не садится в него; на этот раз он решает подчиняться только собственным чувствам, действовать раскованно и поведать своим незнакомым коллегам о том, что он переживает.

— Прошу прощения, уважаемые дамы и господа, но я хотел бы поделиться с вами моим волнением, которого я не ожидал и которое застало меня врасплох. После почти двадцатилетнего отсутствия я снова имею возможность обратиться к собранию людей, которые заняты теми же проблемами, воодушевлены той же страстью, что и я. Я прибыл из страны, где человек мог быть лишен смысла всей своей жизни только за то, что открыто говорил, о чем он думает, ведь весь смысл жизни ученого заключается в его науке. Как вам известно, десятки тысяч людей, все достойнейшие представители интеллигенции моей страны, были сняты со своих постов после трагического лета 1968 года. Еще полгода назад я был простым строительным рабочим. Ничего унизительного в этом нет; за это время я узнал много нового, удостоился дружбы простых и замечательных людей, а еще я понял, что мы, люди науки, — существа привилегированные,

ибо заниматься работой, которая в то же время является нашей страстью, это и есть, друзья мои, привилегия, которой никогда не удостаивались мои коллеги-строители, потому что нельзя со страстью таскать кирпичи и балки. Теперь я обладаю этой привилегией, которой был лишен в течение двадцати лет, и она кружит мне голову почище любого хмеля. Этим и объясняется, дорогие друзья, что я переживаю сегодняшний день как подлинный праздник, хотя он и остается для меня чуть-чуть грустноватым.

Произнося последние слова, он почувствовал, что к его глазам подступают слезы. Это несколько смутило его, он вспомнил своего отца, который в старости волновался и плакал по любому пустяку, но тут же подумал, почему бы и ему разок не расчувствоваться: все эти люди должны быть тронуты его волнением; это нечто вроде небольшого подарка, привезенного им из Праги.

Он не ошибся. Аудитория тоже была взволнована. Не успел он произнести последнее слово, как Берк вскочил и принялся аплодировать. Тут же невесть откуда появилась кинокамера, наведенная на чешского ученого. Весь зал медленно или поспешно поднялся, мелькали улыбающиеся или серьезные лица, все аплодировали, и это на-

столько увлекло людей, что они никак не могли остановиться; чешский ученый стоял среди них — крупный, очень высокий, нескладно высоченный, и чем большей неуклюжестью веяло от его фигуры, тем более трогательным он казался другим и все более растроганным ощущал себя сам, так что слезы уже не копились у него на глазах, а торжественно текли вдоль носа, ко рту, к подбородку, на виду у всех собратьев, которые принялись рукоплескать еще сильнее. Наконец овации мало-помалу утихли, присутствующие расселись по местам, и чешский ученый произнес дрожащим голосом:

— Благодарю вас, друзья мои, благодарю от всего сердца. — Он поклонился и направился к своему креслу.

Он сознавал, что переживает один из величайших моментов своей жизни, миг славы, да-да, славы, почему бы не воспользоваться этим словом; он чувствовал себя великим и прекрасным, он чувствовал себя знаменитым и от всей души желал одного: чтобы его путь к креслу был как можно более долгим, чтобы ему не было конца.

## 19

Когда он шел к своему месту, в зале царила тишина. Быть может, было бы вернее сказать, что то была не единая тишина, а множество ее разновидностей. Ученый различал только одну из них: тишину волнения. Он не отдавал себе отчета в том, что мало-помалу, подобно тончайшим модуляциям в сонате, переводящим ее из одного тона в другой, взволнованная тишина превратилась в тишину неловкую. Все понимали, что этот господин с непроизносимым именем до того переволновался, что забыл прочесть свой доклад насчет открытия нового вида мушек. И сознавали, что было бы бестактным напомнить ему об этом. После долгих колебаний председательствующий прокашлялся и сказал:

— Я благодарю господина Чекошипи… — он немного помолчал, давая приглашенному последнюю возможность вспомнить о докладе, — и прошу к столу президиума следующего выступающего.

Как раз в этот момент тишина была прервана сдавленным смешком в глубине зала.

Погрузившись в свои мысли, чешский уче-

ный не слышал ни этого смеха, ни выступления своего коллеги. Ораторы сменяли друг друга, пока наконец очередь не дошла до бельгийского специалиста, тоже занимающегося мушками, который вывел его из оцепенения: Боже мой, да он же забыл произнести свой доклад! Он сунул руку в карман, пять листков были на месте, как бы в подтверждение того, что все это ему не пригрезилось.

Щеки его пылали. Он чувствовал, как он смешон. Можно ли хоть что-нибудь поправить? Нет, поправить уже ничего было нельзя.

Промучившись несколько мгновений от стыда, он вдруг подумал, что пусть он выглядит смешным, но в этом нет ничего нехорошего, позорного или обидного; смехотворное положение, свалившееся ему как снег на голову, только усиливало его привычную меланхолию, придавало его судьбе еще более печальный оттенок и, следовательно, делало ее еще более величественной и прекрасной.

Гордость и грусть будут навеки неразлучны в душе чешского ученого.

## 20

В каждом собрании находятся дезертиры, ускользающие в соседнее помещение, чтобы там выпить. Устав слушать энтомологов и не позабавившись как следует курьезным выступлением чешского ученого, Венсан вместе с другими беглецами оказывается в холле, за длинным столом возле бара.

После долгого молчания он рискует завязать разговор с неизвестными ему людьми:

— А моя подружка требует некоторой грубости в поведении.

Произнося такую фразу, Понтевен выдерживал небольшую паузу, заставлявшую окружающих погрузиться в напряженное молчание. Венсан попытался последовать его примеру, но вместо молчания со всех сторон раздается смех, громкий смех; это придает ему храбрости, глаза его загораются, он машет рукой, чтобы успокоить своих слушателей, но в этот момент соображает, что все смотрят в другой конец стола, привлеченные стычкой двух господ, осыпавших друг друга бранью.

Через пару минут ему удается еще раз привлечь

внимание к своей особе:

— Да говорят же вам, что моя подружка требует, чтобы я обращался с ней по-скотски.

На сей раз все его выслушивают, и Венсан не делает промаха с паузой; он тараторит все быстрей и быстрей, словно опасаясь кого-то, кто мог бы его перебить:

— А я на такое не способен, я человек слишком утонченный, правда ведь? — и хохочет над собственными словами. Но никто не отзывается на его смех, и он спешит продолжить свою исповедь, все время наращивая ее темп: — Ко мне часто приходит молоденькая машинистка, я ей диктую…

— Она печатает на компьютере? — спрашивает у него какой-то тип, неожиданно заинтересовавшийся его речами.

— Да, — отвечает Венсан.

— А какой марки компьютер?

Венсан называет марку. У его собеседника марка была другая, и он принимается травить истории про свой компьютер и жаловаться, что тот взял моду подкладывать ему всякие подлянки. Все вокруг веселятся и то и дело покатываются со смеху.

А Венсан, ни с того ни с сего загрустив, вспом-

нил одну свою старую идею. Принято думать, что успех человека более или менее определяется его внешностью, красотой или безобразием его лица, его фигурой, шевелюрой или отсутствием таковой. Какое заблуждение! Все решает голос. А у Венсана голосок слабый и чересчур высокий; когда он вступал в разговор, никто не обращал на него внимания, так что ему приходилось говорить все громче, и тогда всем казалось, будто он кричит. А вот Понтевен говорит совсем негромко, но голос у него такой звучный, приятный и мощный, что все вокруг слушают только его.

Ах этот чертов Понтевен! Он же обещал Венсану явиться на конференцию вместе со всей своей шайкой, но потом потерял к этому мероприятию всякий интерес — такова уж была его натура, нацеленная больше на слова, чем на дела. С одной стороны, Венсан был раздосадован, а с другой — чувствовал себя еще более обязанным исполнить наказ своего мэтра, который сказал ему накануне отъезда: «Ты будешь выступать в роли нашего представителя. Я даю тебе полное право действовать от нашего имени, ради нашего общего дела». Напутствие это было, разумеется, шутовским, но шайка-лейка из «Гасконского кафе» была уверена, что в нашем ничтожном мире

только шутовские приказания и заслуживают того, чтобы их исполняли. Перед глазами Венсана проплыли сначала тонкое лицо Понтевена, потом здоровенная пасть Машу: он одобрительно улыбался. Поддержанный этими видениями и особенно этой улыбкой, Венсан решил действовать: он осмотрелся по сторонам и среди группы людей, осаждавших бар, заприметил девицу, которая очень ему приглянулась.

## 21

Чудной народ эти энтомологи: даже не взглянут на хорошенькую девушку, хотя она смотрит им в рот, готовая когда надо посмеяться, а когда надо — напустить на себя серьезный вид. Было ясно, что она не знакома ни с одним из окружающих ее мужчин и что под ее напускной раскованностью скрывается робкая душа. Венсан поднимается из-за стола, подходит к той группе, в которую втерлась девушка, и заговаривает с ней. Вскоре они отстранились от остальных и завязали беседу, которая с самого начала обещает быть непринужденной и долгой. Ее звали Юлией, она была машинисткой, на конгрессе исполняла мелкие поручения президента энтомологов; освободившись после полудня, она воспользовалась случаем, чтобы провести вечер в этом знаменитом замке, среди людей, которые хотя и внушали ей трепет, но в то же время возбуждали любопытство, потому что до вчерашнего дня она в глаза не видела ни одного энтомолога. Венсан чувствует себя с ней легко, ему не нужно повышать голос, совсем наоборот: он старается говорить потише, чтобы не слышали другие. Потом он тащит ее к

маленькому столику, где они усаживаются друг против друга и он кладет свою ладонь на ее руку.

— Ты знаешь, — сказал он, — все зависит от силы голоса. Это важнее, чем иметь хорошенькое личико.

— У тебя потрясающий голос.

— В самом деле?

— Да, мне так кажется.

— Но слабый.

— В этом-то вся его прелесть. А вот у меня голос противный, скучный, скрипучий; я каркаю как старая ворона — ты не находишь?

— Нет, — возразил Венсан с оттенком нежности, — мне нравится твой голос, он такой вызывающий, непочтительный.

— Уж ты скажешь.

— Твой голос — это отражение тебя самой. Ты тоже особа непочтительная и вызывающая!

Юлия, которой пришлись по вкусу речи Венсана, говорит:

— Так оно, наверно, и есть.

— А эти людишки — сплошная погань, — замечает Венсан.

— Разумеется, — соглашается она.

— Типа «ты — мне, я — тебе». Буржуйчики. Ты видела Берка? Ну и кретин.

Она целиком и полностью согласна. Эти люди вели себя с нею так, словно она была невидимкой, и все, что можно было услышать о них дурного, доставляло ей удовольствие, она чувствовала себя отмщенной. Венсан казался ей все более и более привлекательным: что за милый парень, простой и веселый, не то что эти буржуйчики.

— Я горю желанием, — заявляет Венсан, — устроить здесь настоящий бардак…

Это звучит внушительно, как призыв к бунту. Юлия улыбается, ее так и подмывает захлопать в ладоши.

— Пойду принесу тебе виски, — говорит он, направляясь в другой конец холла, где находится бар.

## 22

Тем временем председательствующий закрывает заседание, участники конгресса шумно вываливаются из зала и заполоняют холл. Берк подходит к чешскому ученому.

— Я был так потрясен… — он намеренно запнулся, давая понять, как трудно подобрать достаточно точное определение жанра произнесенной чехом речи, — …вашим… свидетельством. Мы склонны слишком быстро многое забывать. Хочу вас заверить, что принимал близко к сердцу все, что у вас происходило. Вы были гордостью Европы, которая не имеет особых оснований гордиться собой.

Чешский ученый делает неопределенный жест протеста, долженствующий свидетельствовать о его скромности.

— Нет, нет, не протестуйте, — продолжает Берк. — я говорю то, что думаю. Вы, именно вы, интеллектуалы вашей страны, выражая упорное сопротивление коммунистическому нажиму, выказали мужество, которого так часто не хватает нам, вы проявили такую жажду свободы, я бы сказал даже — страсть к свободе, что стали

для нас примером для подражания. И еще мне хотелось бы вам сказать, — добавил он, придавая своим словам оттенок дружеской фамильярности, — что Будапешт великолепный город, такой живой и, позвольте мне это подчеркнуть, такой европейский.

— Вы хотели сказать — Прага? — робко осведомился чешский ученый.

Ах, эта чертова география! Берк понял, что оказался в глупейшем положении, и, подавив раздражение, вызванное отсутствием такта у своего коллеги, сказал:

— Я, разумеется, хотел сказать «Прага», но мог бы также назвать Краков, Софию, Санкт-Петербург, я думаю обо всех этих странах, только что вырвавшихся из огромного концлагеря.

— Не говорите мне о концлагерях. Мы часто могли лишиться работы, но в концлагеря нас никто не загонял.

— Все страны Восточной Европы были покрыты лагерями, мой дорогой. А уж реальными или воображаемыми, это не имеет ни малейшего значения!

— И не говорите мне о Восточной Европе, — продолжал свои возражения чешский ученый, — Прага, как известно, такой же западный город,

как Париж. Карлов университет, основанный в четырнадцатом веке, был первым университетом Священной Римской империи. Именно в нем преподавал Ян Гус, предшественник Лютера, великий реформатор Церкви и орфографии.

Что за муха укусила чешского ученого? Он то и дело поправлял своего собеседника, который приходил в бешенство от этих поправок, хотя ему и удавалось сохранить теплоту в голосе.

— Дорогой коллега, не стесняйтесь того, что вы родом с Востока. Франция всегда симпатизировала Востоку. Вспомните хотя бы о вашей эмиграции в девятнадцатом веке.

— В девятнадцатом веке у нас не было никакой эмиграции.

— А Мицкевич? Я горжусь тем, что во Франции он обрел свою родину!

— Но Мицкевич не был чехом, — не унимался чешский энтомолог.

В этот момент на сцене появляется Иммакулата, делающая энергичные знаки своему киношнику, потом она движением руки отстраняет чеха, усаживается рядом с Берком и обращается к нему:

— Жак-Ален Берк…

## 23

Когда час назад Берк увидел Иммакулату и ее киношника в конференц-зале, он чуть не взвыл от ярости. Но теперь раздражение, вызванное чешским ученым, пересилило злость на Иммакулату; в благодарность за избавление от экзотического педанта он даже послал ей неуверенную улыбку.

Ободренная Иммакулата затараторила веселым и подчеркнуто фамильярным тоном:

— Жак-Ален Берк, на этом собрании энтомологов, к числу которых волею судьбы принадлежите и вы, вам довелось пережить один из самых волнующих моментов… — тут она сует микрофон к его губам.

Тот отвечает, как примерный учению

— Да, мы имеем счастье приветствовать в этих стенах великого чешского энтомолога, который, вместо того чтобы целиком отдаться науке, провел всю жизнь в тюрьме. Все мы были потрясены его присутствием.

Плясун — это не только воплощение страсти, но и путь, с которого невозможно сойти; когда Дюберк протащил его мордой по грязи после обеда со спидоносцами, Берк ринулся в Сомали

не только по избытку тщеславия, но еще и потому, что чувствовал необходимость исправить неудачное па своего танца. А в настоящий момент он ощущает пошлость своих фраз, сознает, что им чего-то не хватает, какой-то изюминки, неожиданной идеи, новизны. Поэтому, вместо того чтобы остановиться, он продолжает болтать до тех пор, пока не чувствует, что где-то перед ним забрезжило подлинное вдохновение

— И я пользуюсь случаем, чтобы сообщить о моем предложении создать франко-чешскую энтомологическую ассоциацию. — Пораженный внезапностью этой идеи, он тут же ощущает прилив сил. — Я только что говорил с моим пражским коллегой, — он делает неопределенный жест в сторону чешского ученого, — который был восхищен моим предложением присвоить этой организации имя великого поэта-изгнанника прошлого века, которое символизировало бы вечную дружбу между обоими нашими народами. Мицкевич, Адам Мицкевич. Жизнь этого поэта является уроком, напоминающим нам, что все, что мы делаем, будь то поэзия или наука, это в конце концов бунт. — Благодаря этому слову он окончательно обретает великолепную форму. — Ибо человек — это вечный бунтарь. — Теперь

Берк поистине прекрасен и сознает это. — Не так ли, мой друг? — Он оборачивается к чешскому ученому, которые незамедлительно появляется в кадре кинокамеры и кивает головой, словно хочет сказать «да». — Вы доказали это всею своей жизнью, своими жертвами, своими страданиями, да-да, согласитесь со мной: человек, достойный этого звания, постоянно бунтует, восстает против притеснения, а если таковое отсутствует… — тут он делает долгую паузу; только Понтевен мог сравниться с ним в искусстве использования столь долгих и многозначительных пауз; потом заканчивает на пониженных тонах: — то против самого человеческого удела, который мы не выбирали.

Бунт против человеческого удела, который мы не выбирали… Последняя фраза, венец всей импровизации, поражает его самого; что и говорить, фраза сама по себе великолепна; она внезапно уводит его от политических дрязг своего времени, позволяет соприкоснуться с величайшими умами своей сраны; такую фразу мог написать Камю, Мальро или Сартр.

Осчастливленная Иммакулата делает знак своему киношнику, и его камера перестает стрекотать.

В этот момент чешский ученый подходит к Берку и говорит ему:

— Все это прекрасно, в самом деле прекрасно, но позвольте вам сказать, что Мицкевич не был…

Успех у публики поверг Берка в состояние, близкое к опьянению: твердым, громким и насмешливым голосом он прерывает чешского ученого:

— Я знаю, дорогой мой собрат, знаю не хуже вас, что Мицкевич не был энтомологом. Да и, согласитесь, редко бывает, чтобы поэты занимались этой наукой. Но, несмотря на сей недостаток, они являются гордостью всего человечества, часть которого составляют энтомологи, в том числе, с вашего позволения, и мы сами.

Тут в холле прозвучал настоящий взрыв очистительного хохота, похожий на выхлоп давно скопившегося пара; как только энтомологи поняли, что этот чересчур переволновавшийся господин забыл прочесть свой доклад, они едва могли удержаться от смеха. Наглые речи Берка освободили их от угрызений совести, и теперь они ржали, не скрывая своего ликования.

Чешский ученый озадачен: куда же девалось уважение, которое эти столпы науки проявляли к нему еще пару минут назад? Как они могут сме-

яться, что они себе позволяют? Можно ли с такой легкостью перейти от обожания к презрению? (Можно, дорогой мой, еще как можно.) Неужели симпатия — такое хрупкое, такое неустойчивое чувство? (Ну конечно же, дорогой мой, конечно же.)

В этот момент Иммакулата подкатывает к Берку. Она говорит уверенным голосом, но язык у нее слегка заплетается, словно с похмелья:

— Берк, Берк, послушай, ты просто великолепен! Ты сумел на все наплевать. О, я просто обожаю твою иронию! Но заметь, что и мне самой от нее досталось. Ты помнишь наш лицей? Берк, послушай, а ты помнишь, как прозвал меня Иммакулатой? Ночной певуньей, которая мешает тебе спать? Тревожит твои сны? Не спорь, нам нужно вдвоем сварганить фильм, что-то вроде твоего портрета. Согласись, что только я имею на это право.

Смех, которым энтомологи вознаградили Берка за хорошую взбучку, данную им чешскому ученому, все еще звучит в его ушах и подстегивает его хмельное возбуждение; в подобные моменты чувство огромного самоудовлетворения достигает апогея и толкает его на дерзкие, хотя и чистосердечные поступки, которые потом неред-

ко ужасают его самого. Простим же ему заранее то, что он собирается сделать. Он подхватывает Иммакулату под руку, оттаскивает ее подальше от нескромных ушей и тихонько говорит ей:

— Делай что хочешь, старая потаскушка, со своими чокнутыми подпевалами, хоть трахайся с ними, ночная птичка, ночной кошмар, чучело огородное, воспоминание о моей дури, памятник моей глупости, помойка моих воспоминаний, вонючая моча моей юности…

Она слушает его, не веря своим ушам. Ей кажется, что эти гнусные слова изрыгает кто-то другой, чтобы запутать следы, заморочить все собрание; ей кажется, что слова эти — всего-навсего какая-то хитрая уловка, которую она не в силах раскусить. И она спрашивает у него наивно и прямо:

— Зачем ты мне все это говоришь? Зачем? Как мне все это прикажешь понимать?

— Прикажу понимать именно так, как я тебе говорю! В прямом смысле! В самом прямом! Потаскушку как потаскушку, помойку как помойку, кошмар как кошмар, мочу как мочу!

## 24

Тем временем, сидя в баре, Венсан наблюдал за объектом своего презрения. Вся сцена развертывалась метрах в десяти от него, так что из разговоров он ничего не понял. Ему было ясно одно: Берк предстал перед его глазами именно таким, каким его всегда описывал Понтевен: клоуном для грубой толпы, жалким актеришкой, буржуйчиком, плясуном. Совершенно очевидно, что только благодаря его присутствию бригада телевизионщиков снизошла до посещения энтомологического конгресса! Венсан внимательно следил за Берком, изучая его «балетное» искусство: не спускать с камеры глаз, всегда лезть впереди других, элегантно помахивать ручкой, привлекая к себе всеобщее внимание. В тот момент, когда Берк взял Иммакулату под руку, он не удержался и воскликнул:

— Нет, вы только посмотрите: его здесь никто не интересует, кроме этой бабы с телевидения! Он не взял под руку своего зарубежного коллегу, ему плевать на своих собратьев, особенно иностранных; только эту телевизионщицу он. привечает как свою госпожу, свою любовницу,

свою единственную наложницу, потому что — держу пари! — у него нет других, ведь это величайший импотент во всей вселенной!

Странное дело, на сей раз его голос, несмотря на всю свою позорную слабость, звучит совершенно отчетливо. Бывают обстоятельства, когда самый слабый голос доходит до слушателей. Это случается тогда, когда он изрекает раздражающие нас идеи. Венсан излагает вслух свои размышления, он умен, язвителен, он говорит о плясунах и о контракте, заключенном ими с Ангелом смерти, и, все более распаляясь собственным красноречием, карабкается по своим гиперболам, как по лестнице, ведущей в небо. Некий молодой очкарик, выряженный в тройку, внимательно наблюдает за ним и слушает его, словно хищник, готовящийся к нападению. Когда красноречие Венсана иссякло, он обращается к нему:

— Мсье, нам не дано выбирать эпоху, в которой мы живем. А живем мы под взглядом кинокамер. Они составляют теперь одно из условий человеческого существования. Даже участвуя в войне, мы воюем под взглядом камер. И если нам случается протестовать против чего-нибудь, наш протест не будет услышан без помощи камер. Мы все плясуны, как вы изволите выражаться. Я бы ска-

зал даже: мы либо плясуны, либо дезертиры. Вы, мсье, судя по всему, жалеете, что время движется вперед. Так обратите его вспять! В двенадцатый век, не угодно ли? Но оказавшись там, вы тут же начнете протестовать против кафедральных соборов, считая их современным варварством! Заберитесь еще подальше! Вернитесь к обезьянам! Уж там-то никакая современность вам угрожать не будет, там вы будете чувствовать себя как дома, в непорочном раю макак!

Нет ничего унизительней не найти хлесткого ответа на дерзкий выпад. В несказанном замешательстве, под издевательский смех собравшихся Венсан вынужден трусливо ретироваться. После минутной растерянности он вспоминает, что его ждет Юлия; он одним глотком опорожняет стакан виски, который держит в руке, ставит его на стойку бара и заказывает еще две порции — одну для себя, другую для Юлии.

## 25

Образ человека в тройке впился в его душу словно заноза, он никак не мог от него избавиться; это тем более неприятно, что в то же время он жаждет соблазнить женщину. Но как ее соблазнишь, если тебя мучает душевная заноза?

Она заметила его состояние.

— Где ты торчал все это время? Я уж думала, что ты не вернешься. Что ты меня бросил.

Он понял, что она дорожит им, и это несколько облегчает боль, вызванную занозой. Он пытается снова выглядеть обольстительным, но она держится настороже.

— Не вешай мне лапшу на уши. За несколько минут ты совсем изменился. Ты повстречал какого-то знакомого?

— Да нет же, нет, — отозвался Венсан.

— А вот и да. Ты встретился с женщиной. И я прошу тебя: если хочешь, отправляйся к ней, мы-то ведь познакомились с тобой всего каких-нибудь полчаса назад. А я буду считать, что мы и вовсе незнакомы.

Она все грустнела и грустнела, а для мужчины нет более сладостного бальзама, чем грусть, при-

чиненная им женщине.

— Да нет, поверь мне, никакой женщины и в помине не было. А был один мудак, жуткий кретин, с которым я поцапался. Вот и все. — И он принялся гладить ее по щеке так искренне и нежно, что она сразу же забыла обо всех своих подозрениях.

— Пусть так, Венсан, и все-таки ты совершенно переменился.

— Пойдем-ка со мной, — сказал он, приглашая ее в бар. Там он надеялся извлечь занозу из души с помощью целого потока виски. Элегантный тип в тройке все еще торчал там в компании нескольких друзей. Поблизости не было ни одной женщины, и это было на руку Венсану, сопровождаемому Юлией, которая в этот миг показалась ему еще милее.

Он взял два стакана виски, протянул Юлии один, поспешно проглотил другой, потом склонился к ней:

— Посмотри на этого кретина в тройке и в очках.

— На этого? Да это же ничтожество, Венсан, сущее ничтожество, как ты только можешь обращать на него внимание?

— Ты права. Это типичный недоскребыш. Ан-

тибитник. Импотент, — говорит Венсан, и ему кажется, что присутствие Юлии заставляет его забыть о недавнем поражении, ибо истинная победа, единственная, за которую стоит бороться, сводится к быстрейшему завоеванию этой захмелевшей красотки в зловещем и антиэротическом обществе энтомологов.

— Ничтожество, пустое место, пустое место, я тебя уверяю, — повторяет Юлия.

— Ты права, если я не выкину его из головы, я и сам превращусь в такого же кретина. — И он прямо там, в баре, на виду у всех целует ее в губы.

Это был их первый поцелуй.

Они выходят в парк, гуляют, останавливаются и целуются снова. Потом находят скамейку и усаживаются на ней. Издалека к ним доносится плеск реки. Они охвачены восторгом, сами не зная почему; а вот я знаю: они слышали реку мадам де Т., реку ее любовных ночей; из кладезя времен век наслаждений посылал Венсану сдержанный привет.

И он произносит, словно по чьей-то подсказке:

— Когда-то в этом замке устраивались оргии. В восемнадцатом веке, точнее говоря. Сад. Маркиз де Сад. «Философия в будуаре». Ты знаешь эту книжонку?

— Нет.

— А следовало бы. Я дам ее тебе почитать. Это беседа во время оргии между двумя мужчинами и двумя женщинами.

— Да, — говорит она.

— Все четверо голые, и они совместно занимаются любовью.

— Да.

— Это тебе понравилось бы?

— Не знаю, — ответила она. Но это «не знаю» звучит не как отказ, а как свидетельство трогательной искренности и образцовой скромности.

Занозу из души так просто не вытащишь. Нужно победить боль, отогнать ее, притвориться, что больше не думаешь о ней, но и это притворство требует усилий. Венсан с такой страстью говорит о маркизе де Саде не столько для того, чтобы развратить Юлию, сколько делая попытку забыть обиду, нанесенную ему красавчиком в тройке.

— Да нет же, — уверяет он ее, — и ты это прекрасно знаешь. Прекрасно знаешь, что это тебе пришлось бы по вкусу. — Ему захотелось привести ей множество сентенций, пересказать множество ситуаций, содержащихся в этой фантастической книжке, которая называется «Философия в будуаре».

Потом они поднимаются и продолжают прогулку. Огромная луна всходит над деревьями. Венсан взглянул на Юлию и внезапно почувствовал себя околдованным: в бледном лунном свете девушка кажется ему прекрасной феей, она блистает поразительной красотой, которую спервоначалу он в ней не разглядел, красотой утонченной, хрупкой, девственно-чистой, недосягаемой. И в тот же миг, сам не зная, как это случилось, он представил себе ее задний проход. Неожиданно, внезапно этот образ овладевает им, и он никак не может от него отделаться.

Да будет благословенно это избавительное видение! Ведь благодаря ему красавчик в тройке (наконец-то, наконец-то!) испарился. То, чего не смогли сделать бесчисленные порции виски, в один миг сделала эта похабная картинка! Венсан обнял Юлию, прижал ее к себе, стал тискать ее груди, любоваться ее волшебной красотой, и в то же время ему грезилась дырка в ее заду. Ему страшно захотелось сказать ей: «Я ласкаю твои груди, но думаю только об этой дырке». Но произнести это вслух он не решался, слова застревали у него в глотке. Чем больше он думал об этой дырке, тем светлее, прозрачнее и ангелоподобней казалась ему Юлия, так что его слова так и

остались невысказанными.

## 26

Вера спит, а я, стоя перед открытым окном, смотрю на парочку, которая лунной ночью прогуливается в замковом парке.

Внезапно я слышу, что дыхание спящей становится все более прерывистым; оборачиваюсь к ее постели и чувствую, что она вот-вот закричит. Я никогда не видел, чтобы она стала жертвой кошмаров! Что же происходит в замке?

Я бужу ее, она смотрит на меня широко раскрытыми, полными ужаса глазами. Потом рассказывает мне свой сон, торопливо, словно в приступе лихорадки:

— Я была в длинном коридоре этого отеля. Внезапно вдалеке показался человек, он бежал ко мне. Подбежав метров на десять, он принялся кричать. И, представь себе, он кричал по-чешски! Фразы были совершенно бессмысленные: «Мицкевич не чех! Мицкевич поляк!» Потом он с угрожающим видом приблизился ко мне на несколько шагов, и тут ты разбудил меня.

— Прости меня, — говорю я, — ты стала жертвой моих дурацких вымыслов.

— Как это понимать?

— Да так, что твои сны стали чем-то вроде мусорного ведра, куда я выбрасываю слишком уж глупые страницы.

— А что ты сейчас придумываешь? Роман? — с тревогой спрашивает она.

Я киваю.

— Ты мне часто говорил, что когда-нибудь напишешь роман, где не будет ни единого серьезного слова. Великую Глупость Для Собственного Удовольствия. Боюсь, что этот момент еще не наступил. Хочу тебя только предупредить: будь осторожен.

Я киваю еще усердней.

— Ты помнишь, что тебе говорила твоя мама? У меня в ушах до сих пор звучит ее голос: Миланку, перестань валять дурака. Никто тебя не поймет. Ты обидишь всех на свете, и все на свете возненавидят тебя за это. Помнишь?

— Да, — говорю я.

— Я тебя предупреждаю. Твое спасение — в серьезности. Когда она оставит тебя, ты окажешься голым среди волков. А тебе ли не знать, что они только этого и ждут.

Произнеся это страшное пророчество, она снова заснула.

## 27

Примерно в это же время чешский ученый, подавленный, с истерзанной душой, возвратился к себе в номер. В его ушах еще не умолк хохот, вызванный саркастическими речами Берка. И он не перестает задаваться все тем же вопросом: можно ли с такой легкостью перейти от восхищения к презрению?

И в самом деле, спрашиваю я себя, куда девался поцелуй, запечатленный на его челе Наивысшей Всемирно-Исторической Актуальностью?

Вот в чем ошибаются приверженцы Актуальности. Им неведомо, что ситуации, возникающие на исторической сцене, бывают освещены только в самые первые минуты. Ни одно событие не остается актуальным в течение всей своей длительности, но только в течение весьма краткого отрезка времени, в самом начале. Разве не продолжают умирать сомалийские дети, на которых жадно смотрели миллионы телезрителей? Что сталось с этими детьми теперь? Поправились ли они или еще больше отощали? Да и существует ли до сих пор такая страна — Сомали? И существовала ли она когда-нибудь? Не была ли названием

какого-то фантома?

Способ изложения современной истории напоминает некий грандиозный концерт, где последовательно исполняются сто тридцать восемь опусов Бетховена, причем проигрываются лишь восемь первых тактов каждого из них. Если повторить тот же самый концерт через десять лет, то в нем будет звучать только одна, первая нота каждой пьесы; стало быть, в продолжение концерта будет исполнено всего сто тридцать восемь нот, разыгранных как единая мелодия. А через двадцать лет вся музыка Бетховена свелась бы к одной долгой и пронзительной ноте, похожей на тот нескончаемый высокий звук, который он услышал в первый день своей глухоты.

Чешский ученый погружается в привычную меланхолию; в порядке утешения ему приходит мысль, что эпоха его героической работы на стройке, о которой все хотели бы забыть, оставила ему вполне материальное и ощутимое воспоминание: великолепную мускулатуру. Сдержанная улыбка удовлетворения проступает на его лице, ибо он уверен, что ни у одного из присутствующих здесь ученых нет таких мышц, как у него.

Да-да, верите вы или нет, но эта идея, внешне

смехотворная, приводит его в хорошее настроение. Он снимает куртку и ложится ниц прямо на пол. Поднимает руки. Проделывает это упражнение двадцать шесть раз и чувствует себя довольным. Вспоминает о тех временах, когда он вместе с товарищами по работе ходил после смены купаться в небольшой пруд за строительной площадкой. По правде сказать, он был тогда в тысячу раз счастливей, чем сегодня, в этом замке. Рабочие любили его и называли Эйнштейном.

В голову ему забредает еще одна довольно нелепая идея (он отдает себе отчет в ее нелепости, и это еще больше веселит его): пойти искупаться в роскошном гостиничном бассейне. Исполнившись задорного и вполне сознательного тщеславия, он хотел бы похвалиться своим телом перед заморышами-интеллектуалами этой мудреной, не в меру культурной и в общем-то коварной страны. К счастью, он захватил из Праги плавки (он всюду таскает их с собой); он надевает их и смотрит на себя, полуголого, в зеркало. Сгибает руки в локтях, его бицепсы мощно напрягаются. «Если кому-нибудь вздумалось бы отрицать мое прошлое, пусть взглянут на мои мускулы, доказательство совершенно неопровержимое!» Он воображает, как прогуливается вокруг бассейна,

наглядно, доказывая французам, что на свете существует элементарная ценность — телесное совершенство, которым он вправе гордиться и о котором они не имеют ни малейшего представления. Потом решает, что было бы неприлично расхаживать в таком виде по коридорам отеля, и натягивает на себя спортивное трико. Остается решить вопрос с обувью. Шлепать босиком так же неуместно, как идти в туфлях; он решает ограничиться носками. Экипировавшись таким образом, он снова смотрит в зеркало. И снова его привычная меланхолия уравновешивается гордостью, снова он чувствует себя уверенно.

## 28

Дырка в заду. Можно назвать иначе, как, например, сделал Гийом Аполлинер: «девятые врата плоти». Его стихи о девяти вратах женского тела существуют в двух вариантах: первый он послал своей любовнице Лу в письме, написанном в окопах, 11 мая 1915 года, второй отправил оттуда же другой любовнице, Мадлен, 21 сентября того же года. Оба стихотворения, одинаково прекрасные, различаются только породившим их воображением, но построены по единому плану: каждая строфа посвящена одним из врат тела возлюбленной: один глаз, другой глаз, одно ухо, другое ухо, правая ноздря, левая ноздря, рот; потом, в поэме, написанной для Лу, «врата твоего зада» и, наконец, девятые врата, влагалище. Во втором стихотворении, посвященном Мадлен, порядок перечисления врат под конец существенно меняется. Влагалище отступает на восьмое место, а дырка в заду, открывающаяся «между двумя жемчужными горами», становится «девятыми вратами, и более таинственными, чем все остальные», вратами «колдовства, о котором я не смею говорить», «наивысшими вратами».

Мне кажется, что те четыре месяца и десять дней, разделяющих обе вещи, четыре месяца, которые Аполлинер провел в окопах, погрузившись в свои бурные эротические грезы, привели его к изменению перспективы, к некоему откровению: именно дырка в заду является той таинственной точкой, в которой сосредоточена вся ядерная энергия наготы. Разумеется, врата влагалища важны (кто бы стал это отрицать?), но их важность чересчур официальна; это место зарегистрированное, классифицированное, контролируемое, комментируемое, исследованное, хранимое, воспетое, прославленное. Влагалище — это шумный перекресток, где сталкиваются представители многословного человечества, туннель, которым проходят целые поколения. Только последние болваны позволяют убедить себя в интимности этого места, самого публичного из всех. Единственное подлинно интимное место, посягнуть на табуированность которого не осмеливаются даже порнофильмы, — это дырка в заду, наивысшие врата, то есть самые таинственные, самые секретные.

Эту мудрость, стоившую Аполлинеру четырех месяцев, проведенных под небом, истерзанным шрапнелью, Венсан постиг во время одной-един-

ственной прогулки с Юлией, которая в свете луны стала почти полупрозрачной.

## 29

Трудно приходится тому, кто хочет говорить только об одной вещи и в то же время не в состоянии сделать этого: непроизносимая дырка в заду затыкает рот Венсана подобно кляпу и лишает его дара речи. Он смотрит в небо, словно прося у него помощи. И небо внемлет его мольбе, оно ниспосылает ему поэтическое вдохновение; Венсан восклицает:

— Нет, ты только посмотри! — и делает жест в сторону луны: — Она как дырка в небесном заду!

Он оборачивается к Юлии. Полупрозрачная и нежная, она улыбается и говорит «да», потому что с некоторого времени готова восхищаться любой произнесенной им глупостью.

Он слышит ее «да», но вожделение его не стихает. Она чиста, словно фея, и ему не терпится услышать из ее уст эту формулу: «дырка в заду», но он не решается. Вместо этого, угодив в ловушку своего красноречия, он все больше и больше увязает в придуманной им метафоре:

— Дырка в небесном заду, откуда исходит бледный свет, озаряющий внутренности вселенной! — И он протягивает руку к луне — Вперед, в

дыру бесконечности!

Не могу удержаться, чтобы не сделать скромный комментарий к этой импровизации Венсана: своей навязчивой и ярко выраженной идеей дырки в заду он думает выразить привязанность к XVIII веку, к маркизу де Саду и ко всей шайке либертинов-вольнодумцев, но, поскольку он не в силах целиком и до конца отдаться этому наваждению, совсем другое или даже полностью противоположное наследие, принадлежащее следующему веку, приходит ему на помощь; иначе говоря, он способен говорить о своих бесстыжих наваждениях, только поэтизируя их, превращая в метафоры. Таким образом, он приносит дух либертинажа в жертву духу поэзии. И дырку в женском заду перемещает в небесную дымку.

Ах, как прискорбно это перемещение, на него просто больно смотреть! Мне совсем неприятно следить за Венсаном, двинувшимся по этому пути: он ведет себя как сумасшедший, он мечется из стороны в сторону, словно муха, увязшая в капельке клея, он вопит:

— Дырка в небесном заду — это все равно что глазок божественной кинокамеры!

Как бы сознавая бессилие Венсана, Юлия нарушает его поэтические грезы, указывая на ярко

освещенные окна холла:

— Почти все уже разъехались.

Они возвращаются; за столиками в самом деле сидит лишь несколько запоздалых гостей. Красавчика в тройке нигде не видно. Однако даже его отсутствие напоминает Венсану о нем с такой силой, что он снова слышит его холодный и злой голос, сопровождаемый смехом его товарищей. И ему снова становится стыдно: отчего он так растерялся перед ним? Отчего не осмелился возражать? Он силится вымести его из своей души, но это ему не удается; в его ушах снова звучат слова: «Мы все живем под взглядом кинокамер. Они составляют теперь одно из условий человеческого существования…»

Он совсем забывает о Юлии и, сам себе удивляясь, зацикливается на этих двух фразах. Как странно: аргументы красавчика почти тождественны той идее, которую он сам, Венсан, излагал в споре с Понтевеном: «Если ты хочешь вмешаться в общественный конфликт, привлечь внимание к несправедливости, то как ты в наше время можешь не быть или не казаться плясуном?»

Не потому ли он так растерялся перед красавчиком? Неужто его рассуждения были так

близки его собственным, что он не решился их оспаривать? Не угодили ли мы все в одну и ту же ловушку, расставленную миром, который внезапно превратился у нас под ногами в сцену и с этой сцены нет выхода? И, стало быть, нет никакой разницы между тем, что думает Венсан и что думает красавчик?

Нет, эта мысль просто невыносима! Он презирает Берка, презирает красавчика, и это презрение предопределяет все его оценки. Он упорно пытается уловить разницу между ними и собой, и наконец это ему удается: они, как жалкие прихвостни, рады-радешеньки тем условиям человеческого существования, которые навязаны им извне: это плясуны, довольные своим положением. Тогда как он, даже сознавая, что никакого выхода нет, вопит о своем несогласии с этим миром. Тут ему приходит на ум ответ, который он мог бы бросить в лицо красавчику: «Если жизнь под взглядом кинокамер стала условием нашего существования, я восстаю против такой жизни! Я не выбирал ее!» Вот это настоящий ответ! Он склоняется к Юлии и без малейших объяснений заявляет ей:

— Единственное, что нам осталось, это бунт против условий человеческого существования,

которых мы не выбирали!

Успев привыкнуть к бессвязным фразам Венсана, девушка находит великолепной и эту и отвечает ему воинственным тоном:

— Разумеется! — И поскольку слово «бунт» переполняет ее энергией и ликованием, она добавляет: — Пойдем к тебе в номер!

Красавчик снова испаряется из головы Венсана, он смотрит на Юлию, восхищенный ее последними словами.

Она тоже ликует. Возле бара еще околачивается несколько человек, среди которых была и она, когда ее принялся кадрить Венсан. Эти людишки смотрели на нее как на пустое место и тем унижали ее. Теперь она смотрит на них свысока, величественная и неуязвимая. Они больше не производят на нее ни малейшего впечатления. Впереди у нее целая ночь любви, и все это благодаря ее собственной воле, ее собственной решимости; она чувствует себя богатой, везучей, куда более сильной, чем все эти людишки.

Она шепчет на ухо Венсану:

— Все это сплошь антибитники. — Она знает, что это любимое словечко Венсана, и повторяет его, чтобы он знал, что она готова отдаться ему, что принадлежит ему целиком.

Все обстоит так, словно она вручила ему гранату, начиненную эйфорией. Он мог бы теперь пойти вместе с прекрасной обладательницей дырки в заду прямо в свой номер, но, как бы подчиняясь дошедшему откуда-то издалека приказу, решает сначала учинить здесь настоящий бардак. Он подхвачен хмельным порывом, в котором мешаются образы дырки в заду и предстоящего совокупления, слышится насмешливый голос красавчика и мелькает силуэт Понтевена, который, подобно Троцкому, из своего парижского бункера руководит этим вселенским скандалом, этим великим борделическим бунтом.

— Пойду окунусь, — объявляет он Юлии и бегом спускается по лестнице к пустому в данный момент бассейну, который при взгляде сверху представляется подобием театральной сцены. Он расстегивает рубашку. К нему подбегает Юлия. — Пойду окунусь, — повторяет он и стаскивает с себя штаны. — Ты тоже раздевайся.

## 30

Гнуснейшая речь, адресованная Берком Иммакулате, была произнесена таким тихим, свистящим голосом, что стоявшие неподалеку были не способны вникнуть в истинную суть драмы, которая разворачивалась у них на глазах. Иммакулате удалось ничем не выдать своего потрясения: когда Берк удалился, она направилась к лестнице, поднялась по ней и, оказавшись в одиночестве посреди пустынного коридора, ведущего к номерам, почувствовала, что ее пошатывает. Через полчаса ни о чем не подозревавший киношник ввалился в номер, который они снимали вдвоем, и нашел ее лежащей ничком на постели.

— Что с тобой случилось?

Она ничего не ответила.

Он присел рядом с ней, положил ей руку на голову. Она стряхнула ее, словно это была змея.

— Да что же с тобой случилось?

Он повторил этот вопрос несколько раз, прежде чем она удостоила его ответом:

— Прошу тебя, пойди прополоскай горло, от тебя разит как от винной бочки.

Дыхание у него всегда было чистое, он мылся

каждый день и вообще был образцовым чистюлей, так что ее вранье не обмануло его, и все-таки он послушно поплелся делать то, что ему было велено. Мысль о дурном запахе изо рта пришла к Иммакулате не сама собой, здесь было замешано недавнее и сразу ее подавленное воспоминание о запахе изо рта у Берка — оно-то и вызвало у нее вспышку раздражения. Когда она, содрогаясь, слушала его оскорбления, ей было недосуг заниматься его дыханием, но сидевший в ней незримый наблюдатель не только уловил этот тошнотворный запах, но и конкретнейшим, яснейшим образом откомментировал его: мужчина, у которого разит изо рта, не может иметь любовниц; ни одна женщина к такому не привыкнет, всякая уж как-нибудь да постарается объяснить ему, что от него скверно пахнет, и избавить от этого порока. Осыпаемая оскорблениями, она вслушивалась в этот молчаливый комментарий, казавшийся ей забавным и преисполненным надежды, — ведь он внушал ей, что, если скинуть со счета сонм прекрасных дам, которые ухищрениями самого Берка вьются вокруг него, он давно уже охладел к галантным авантюрам и что место рядом с ним в постели всегда свободно.

Прополоскав горло, наш киношник, человек столь же романтичный, сколь практичный, сказал себе, что единственный способ изменить кровожадное настроение своей подружки — это как можно скорее заняться с ней любовью. В ванной он надевает на себя пижаму и, неверными шагами вернувшись в номер, присаживается на краешек постели.

Не решаясь больше тронуть ее, он в который раз произносит:

— Да что же такое с тобой стряслось?

Та отвечает с непоколебимым присутствием духа:

— Если ты будешь повторять эту дурацкую фразу, не жди, что у нас с тобой получится хоть какой-то разговор.

Она поднимается и идет к одежному шкафу, открывает его, всматривается в несколько висящих на вешалке платьев, они притягивают ее, возбуждают столь же смутное, сколь и сильное желание не покидать сцену по собственной воле; снова проведать места своих унижений; не примиряться с поражением, а при удобном случае превратить его в грандиозный спектакль, во время которого она могла бы блеснуть своей уязвленной красотой и вовсю проявить свою

бунтующую гордость.

— Что ты делаешь? Куда ты намерена идти?

— Это не имеет значения. Самое главное — не оставаться здесь, с тобой.

— Но скажи все-таки, что у тебя не ладится?

Иммакулата смотрит на свои платья и замечает: «Шестой раз», и я готов вас уверить, что она не ошиблась в своих подсчетах.

— Ты сегодня была настоящим совершенством, — говорит ей киношник, твердо вознамерившись перебороть ее настроение. — Ты многого добилась. Твой проект передачи о Берке кажется мне решенным. Я заказал бутылку шампанского в номер.

— Ты можешь пить что хочешь и с кем хочешь.

— Но что же все-таки стряслось?

— Седьмой раз. С тобой все кончено. Навсегда. Мне надоел запах у тебя изо рта. Ты — мой кошмар. Мой дурной сон. Мой провал. Мой позор. Мое унижение. Мое омерзение. Именно это я и хотела тебе сказать. Грубо и откровенно. Чтобы не продолжать мои колебания. Мой кошмар. И всю эту историю, которая утратила малейший смысл.

Она стоит лицом к вешалке, повернувшись спиной к киношнику, говорит спокойно, не спе-

ша, низким, свистящим голосом. Потом начинает раздеваться.

## 31

Она впервые раздевается перед ним с таким бесстыдством, с таким подчеркнутым равнодушием. Эта процедура означает: твое присутствие здесь, передо мной, не имеет никакого, ну ровным счетом никакого значения; ты для меня все равно что собачонка или мышонок. Твои взгляды не заставят встрепенуться ни единую частицу моего тела. Я могла бы делать перед тобой что угодно, совершать самые неподобающие поступки, мыть себе уши или подмываться, блевать, мастурбировать, мочиться. У тебя нет ни глаз, ни ушей, ни головы. Мое гордое безразличие — это плащ, позволяющий двигаться перед тобой совершенно свободно и бесстыдно.

Киношник видит, как тело любовницы на его глазах полностью преображается; это тело, до сих пор отдававшееся ему так просто и поспешно, высится теперь перед ним как греческая статуя на цоколе высотой в сотню метров. Он сходит с ума от желания, но это странное желание, не проявляющееся чувственным образом, а витающее в его голове, только в ней, сродни неодолимому мозговому влечению, навязчивой идее, мистиче-

скому безумию, уверенности в том, что именно это, а не какое-то другое тело предназначено до краев заполнить его жизнь, всю его жизнь.

Она чувствует, как это влечение, эта самоотрешенность буквально липнут к ее коже, и волна холодной сдержанности ударяет ей в голову. Она сама удивлена этому, ничего подобного ей не приходилось испытывать раньше. Этот наплыв холодности подобен наплыву страсти, жара или гнева. Ибо эта холодность и есть страсть; абсолютная преданность киношника и абсолютный отказ Берка являются как бы двумя сторонами одного и того же проклятия, которому она старается противиться; грубая выходка Берка имела целью отбросить ее в объятия пошлейшего любовника; единственным способом сопротивления этой грубости была бы абсолютная ненависть к этому любовнику. Вот почему она с такой яростью отвергает все его предложения, вот почему она хотела бы превратить его в мышонка, потом в паучка, потом в муху, которую сожрал бы другой паук.

Она уже облачилась в белое платье, решив спуститься в нем вниз и показаться Берку и всем остальным. Она счастлива, что привезла с собой платье белого цвета, цвета свадьбы, ибо ее не

покидает впечатление, что она переживает день свадьбы, но свадьбы навыворот, трагической свадьбы без жениха. Под белым одеянием таится рана, нанесенная несправедливостью, и она чувствует, что несправедливость эта возвеличивает и украшает ее, подобно тому как несчастья украшают всех трагических персонажей. Она идет к двери, зная, что ее выряженный в пижаму любовник последует за ней на цыпочках, как верный пес, и ее радует, что так они пересекут весь замок: трагикомическая парочка, королева, сопровождаемая безродным псом.

## 32

Но вид того, кто был причислен ею к собачьему роду-племени, поражает ее. Он стоит у двери, его лицо искажено бешенством. Его стремление к покорности внезапно иссякло. Он полон безнадежного желания взбунтоваться против этой красоты, которая несправедливо его унижает. Ему не хватает духу дать ей пощечину, избить, повалить на постель и изнасиловать, но он чувствует необходимость сделать что-то непоправимое, бесконечно грубое и агрессивное.

Она волей-неволей останавливается на пороге.

— Дай мне пройти.

— Я не дам тебе пройти.

— Ты для меня больше не существуешь.

— Как это не существую?

— Я знать тебя не знаю.

Он смеется сдавленным смехом:

— Ты меня не знаешь? — Он повышает голос: — А с кем же это ты трахалась сегодня утром?

— Я запрещаю тебе при мне выражаться! Употреблять такие слова!

— Этим утром ты сама говорила мне именно эти слова: трахай меня, затрахай меня, перетра-

хай меня!

— Это было, когда я еще любила тебя, — говорит она с легким смущением, — но теперь эти слова звучат для меня сплошной грубостью.

— И, однако, мы трахались! — кричит он.

— Я запрещаю тебе!

— И ночью тоже только и делали, что трахались, трахались, трахались!

— Замолчи!

— Почему мое тело тебе не в тягость утром, а вечером, видите ли, в тягость?

— Как мне противна твоя грубость!

— Мне плевать, что она тебе противна! Ты потаскушка!

Ах, не нужно ему было произносить это слово, то самое, что бросил ей в лицо Берк.

— Мне омерзительна твоя грубость, — кричит она, — и сам ты омерзителен!

Он тоже переходит на крик:

— Значит, ты трахалась с тем, кто вызывает у тебя омерзение! Но поступающая так женщина и есть самая настоящая шлюха, потаскушка последнего разбора.

Слова киношника становятся все более и более грубыми, на лице Иммакулаты проступает страх.

Страх? Неужто она и в самом деле боится его? Я не думаю: в глубине души она понимает, что не стоит преувеличивать важность подобного бунта. Ей известна преданность киношника, и она уверена в ней. Она знает, что он осыпает ее грубостями лишь для того, чтобы она услышала его, увидела, приняла во внимание. Он оскорбляет ее, потому что слаб, и с позиции силы ему нечего ей противопоставить, кроме грубости и бранных слов. Если бы она хоть самую малость любила его, она должна была расчувствоваться от этого взрыва отчаянного бессилия. Но вместо умиления она испытывает только разнузданное желание причинить ему боль. Именно поэтому она решает понимать всю его брань буквально, сделать вид, что испугана ею. Поэтому-то она и смотрит на него глазами, полными ужаса.

Он видит страх на лице Иммакулаты и чувствует себя бодрее: обычно это он дрожит от страха, уступает ей, просит прощения, а сейчас, совершенно неожиданно, дрожит она, видя его силу и ярость.

Думая, что она вот-вот признает свою слабость, капитулирует, он повышает голос и продолжает выпаливать ей в лицо свои агрессивные и бессильные глупости. Он, бедняга, и не подозревает,

что она, как всегда, ведет свою собственную игру, что он остается безвольной марионеткой в ее руках даже тогда, когда ему кажется, что ярость придала ему сил и вернула свободу.

— Я боюсь тебя, — говорит она, — ты агрессивен, ты отвратителен! — А он, простофиля, не понимает, что такого рода обвинения уже никогда больше с него не снимутся, что он, добренький и послушный тряпичный клоун, должен стать раз и навсегда насильником и агрессором.

— Я тебя боюсь, — повторяет она еще раз и отстраняет его с дороги.

Он пропускает ее и тащится вслед за ней, как безродный пес за королевой.

## 33

Нагота. У меня хранится вырезка из «Nouvel Observateur» за октябрь 1993 года: опрос населения. Сотне дюжин людей, считающих себя левыми, был послан опросный лист, состоящий из двухсот десяти слов, из которых они должны подчеркнуть те, что поразили их воображение, те, которые задели их за живое, показались им притягательными и симпатичными. Подобный же опрос производился несколько лет назад; в ту пору среди тех же двухсот десяти слов оказалось лишь восемнадцать, на которые люди, придерживающиеся левых взглядов, откликнулись и тем самым подтвердили свое единомыслие. Теперь таких пунктов осталось только три. Только три слова, с которыми может согласиться левак-гошист. Какое вырождение! Какой упадок! Каковы же эти три слова? Слушайте меня внимательно: бунт, красный, нагота. Бунт и красный цвет — это само собой разумеется. Но то, что помимо этих двух слов одна лишь нагота заставляет биться сердца леваков, что она является их общим символическим достоянием, это и впрямь удивительно. Неужели это все, что оставила

им великолепная история двухсот последних лет, торжественно открытая Французской революцией, неужели в этом заключено наследие Робеспьера, Дантона, Жореса, Розы Люксембург, Ленина, Грамши, Арагона, Че Гевары? Голые животы, голые причиндалы, голые ягодицы? Неужели это и есть последнее знамя, под которым последние отряды левых сил делают вид, будто свершают свой великий марш сквозь века?

Но почему именно нагота? Что означает для леваков это слово, подчеркнутое ими на листе, составленном в Институте изучения общественного мнения?

Вспоминаю шествие немецких леваков в семидесятых годах, когда они, выражая свое негодование по какому-то поводу (против атомной электростанции, против войны, против власти денежных мешков, я уж не помню, против чего еще), разделись догола и промаршировали с дикими выкриками по улицам большого немецкого города.

Что должна была выражать их нагота?

Первая гипотеза: она представляла для них самую драгоценную из всех свобод, самую беззащитную из всех ценностей. Немецкие гошисты прошествовали по городу, выставляя напоказ

свои гениталии, подобно тому как преследуемые христиане шли на смерть, неся на плече деревянный крест.

Вторая гипотеза: немецкие гошисты вовсе не хотели выставлять напоказ символы каких-то ценностей, их цель была куда проще — шокировать презираемую ими публику. Шокировать, ужаснуть, унизить. Забросать дерьмом. Вывалять во всех сточных канавах вселенной.

Курьезная дилемма: символизирует ли нагота величайшую ценность или просто-напросто величайшую мерзость, вроде бутылки с нечистотами, которую бросают в лагерь неприятелей?

И что представляет она для Венсана, который повторяет Юлии: «Раздевайся, — и прибавляет: — Великое разоблачение на глазах у всех этих недоскребышей!»

И чем она является для Юлии, которая послушно и даже с некоторым вызовом отвечает: «Почему бы и нет?» — и начинает расстегивать платье.

## 34

Он раздет догола. Это состояние слегка удивляет его, и он посмеивается кашляющим смешком, обращенным скорее к самому себе, чем к ней, потому что находиться голым в таком большом остекленном пространстве необычно для него до такой степени, что он не может думать ни о чем, кроме эксцентричности своей ситуации. Она уже расстегнула и отбросила в сторону лифчик, стянула с себя трусики, но Венсан как бы не замечает ничего этого: он видит, что она голая, но как и когда это случилось, ему невдомек. Вспомним, сколько времени его преследовало видение дырки в ее заду, и зададимся вопросом, думает ли он о ней и теперь, когда эта дырка уже не прикрыта шелком трусиков? Нет. Пресловутая дырка испарилась у него из головы. Вместо того чтобы жадно вглядеться в тело, обнажившееся у него на глазах, вместо того чтобы приблизиться к нему, неспешно оглядеть его со всех сторон, может быть, даже коснуться его, он отворачивается и погружается в бассейн.

Чудной парень этот Венсан. Он наскакивает на плясунов, бредит по поводу луны, а ведь, в

сущности, — это настоящий спортсмен. Он ныряет в воду, плавает. И тут же забывает о своей наготе, об этой Юлии, думая только о своем кроле. За его спиной Юлия, не умеющая нырять, осторожно спускается по лестнице. Он даже не оборачивается, чтобы взглянуть на нее. Какая жалость, ведь Юлия очаровательна, просто очаровательна. Ее тело словно бы светится, но не свечением целомудрия, а еще чем-то, не менее прекрасным: неуклюжестью наготы, предоставленной самой себе, ибо Юлия, увидев, что Венсан нырнул с головой под воду, уверена, что никто на нее не смотрит. Вода доходит ей до золотого руна, но кажется такой холодной, она и рада бы окунуться сразу, но не хватает духу. Она останавливается, колеблется и жмется, потом осторожно спускается еще на одну ступеньку, так что вода доходит ей теперь до пупка, она окунает в нее руки, охлаждает груди. На все это в самом деле очень приятно смотреть. Простодушный Венсан ни о чем не догадывается, но я-то сам вижу наконец наготу, лишенную всякого значения, наготу обнаженную, наготу саму по себе, чистую и привораживающую мужчин.

Наконец она пускается вплавь. Плавает она куда медленнее Венсана, неловко держит голову

слишком высоко над водой; Венсан уже трижды одолел пятнадцать метров бассейна, когда она подплывает к ступенькам, чтобы выйти из воды. Он торопится за ней. Они уже стоят на краю бассейна, когда сверху, из холла, до них доносятся голоса.

Возбужденный близостью невидимых незнакомцев, Венсан кричит:

— Я войду в тебя с тыла. Я хочу быть содомитом! — и с ухмылкой фавна набрасывается на нее.

Как могло случиться, что во время их задушевной прогулки он не осмелился шепнуть ей наималейшую скабрезность, а теперь во всеуслышание изрыгает столь гнусные откровения?

Именно потому, что он незаметно для себя самого миновал зону интимности. Слово, произнесенное в узком, замкнутом пространстве, имеет совсем иной смысл, чем то же слово, прозвучавшее в амфитеатре. Это уже не то слово, за которое он был полностью ответствен и которое было обращено только к его подружке; теперь это слово хотят услышать другие, толпящиеся вокруг и пялящие на них глаза. По правде говоря, амфитеатр пуст, но даже если это и так, воображаемая или мнимая, потенциальная или виртуальная

публика никуда не девалась, она здесь, с ними.

Можно задаться вопросом, из кого же она состоит; я не думаю, что Венсан воображает ее состоящей из людей, виденных им на конференции; окружающая его теперь публика многочисленна, настырна, требовательна, шумна, любопытна, но в то же время совершенно неопределима, со стертыми чертами лица; но значит ли это, что публика, которую он воображает, это та самая публика, о которой грезят плясуны? Публика невидимок? Та самая, опираясь на которую Понтевен строит свои теории? Весь мир целиком? Безликая бесконечность? Чистая абстракция? Не совсем: ведь в этой анонимной толпе сквозят конкретные лица, Понтевен и его дружки; они оживленно следят за происходящим на сцене, не спускают глаз с Венсана и Юлии; тем же самым заняты окружающие их незнакомые люди. Это для них изрыгает Венсан свои похабства, это их одобрение, их восхищение стремится заслужить.

— Я не дамся тебе с тылу, — кричит Юлия, которая знать не знает о Понтевене, а произносит эту фразу единственно для тех, кто, не будучи здесь, тем не менее присутствует в этом амфитеатре. Жаждет ли она их восхищения? Разумеется, но лишь для того, чтобы угодить Венсану. Она хочет,

чтоб ей рукоплескала неведомая и незримая публика, она хочет быть любимой человеком, которого она избрала на сегодняшнюю ночь, и — кто знает? — многими другими. Она носится вокруг бассейна, и ее груди весело болтаются направо и налево.

Слова Венсана становятся все более и более смелыми, только метафорический строй малость затуманивает их крутое похабство.

— Я хочу пронзить тебя насквозь и пригвоздить к стене!

— Не пронзишь, не пригвоздишь!

— Я распну тебя на дне бассейна!

— Не распнешь!

— Я раздеру твою дырку в заду на глазах у всей вселенной!

— Не раздерешь!

— Весь мир увидит твою дырку!

— Никто ее не увидит! — кричит Юлия.

В этот момент они снова слышат поблизости голоса, утяжеляющие легкие шаги Юлии, принуждающие ее остановиться; она начинает пронзительно кричать, словно женщина, которую вот-вот собираются изнасиловать. Венсан хватает ее, и они вместе валятся на газон. Она смотрит на него широко раскрытыми глазами,

ожидая вторжения, которому решила не сопротивляться. Она раздвигает ноги. Закрывает глаза. Слегка откидывает голову набок.

## 35

Но вторжение не состоялось. Не состоялось потому, что волшебная палочка Венсана мала, как увядшая ягода лесной земляники, как наперсток его прапрабабушки.

Почему же она так мала?

Я задаю этот вопрос непосредственно половому члену Венсана, и тот, искренне удивленный, отвечает:

— А почему мне не быть маленьким? Я не вижу никакой необходимости расти. Поверьте, мне такая идея и в головку не приходила. Я не был предупрежден. С согласия Венсана я участвовал вместе с ним в этой веселой беготне вокруг бассейна, сгорая от нетерпения увидеть, что же будет дальше. Кто-кто, а уж я-то всласть позабавился! А теперь вы обвиняете Вен-сана в импотенции! Не делайте этого, я вас умоляю! Я почувствую себя виноватым, а это будет несправедливо в отношении нас обоих, потому что мы живем в абсолютной гармонии. И, клянусь вам, нам никогда не случалось разочаровываться друг в друге. Я всегда гордился им, а он — мною!

Член говорил правду. Впрочем, Венсан и не

был сверх меры огорчен его поведением. Случись нечто подобное у него в номере, он этого никогда не простил бы. А здесь он вынужден рассматривать его реакцию как разумную и даже вполне благопристойную. Исходя из всего этого, он решает принять вещи такими, каковы они есть, и принимается симулировать половой акт.

Юлия тоже не была ни раздосадована, ни обманута в своих лучших ожиданиях. Чувствовать Венса-на на себе, но ничего не ощущать внутри показалось ей странным, но приемлемым, и она постаралась по мере сил отвечать на его потуги собственными телодвижениями.

Долетавшие до них голоса теперь вроде бы отдалились, но в гулкой чаше бассейна отозвался новый звук: поступь бегуна, промчавшегося совсем рядом с любовниками.

Неровное дыхание Венсана усилилось и участилось; он хрипел и мычал, а Юлия постанывала и всхлипывала, отчасти потому, что на нее то и дело плюхалось мокрое тело Венсана, не доставляя ей этим особого удовольствия, отчасти же потому, что ей хотелось ответить на его мычание.

## 36

Заметив эту парочку лишь в самый последний момент, чешский ученый не смог вовремя свернуть. Но он продолжает свой бег, словно там никого нет, и старается смотреть в сторону. Ему неловко: он еще не знает всех тонкостей западной жизни. В коммунистической империи заниматься любовью на краю бассейна было бы делом совершенно невозможным, как, впрочем, там немыслимо было предаваться и другим занятиям, которыми ему еще предстоит овладеть. Он уже на противоположной стороне бассейна, и его разбирает желание обернуться и бросить взгляд на совокупляющуюся парочку; его мучит один вопрос: достаточно ли развит физически совокупляющийся мужчина? И что более полезно для телесной культуры — физическая любовь или ручной труд? Но он преодолевает себя, не желая прослыть бесстыжим ротозеем.

Остановившись на противоположной стороне бассейна, он приступает к своим упражнениям: сначала, высоко поднимая колени, начинает бег на месте, потом делает стойку на руках, подняв ноги вверх; он с самого детства овладел этим

упражнением, которое гимнасты называют «перевертышем»; на сей раз оно удалось ему не хуже, чем прежде, и он задает себе вопрос: много ли французских ученых или министров сумели бы проделать его так же хорошо, как он? Он мысленно перебирает всех французских министров, которых знал по именам или по фотографиям, пытается представить их в этой полиции, удерживающих равновесие на руках, и остается доволен: все они кажутся ему слабыми и неуклюжими. Выполнив это упражнение семь раз, он лег ничком и стал отжиматься от пола.

## 37

Ни Юлии, ни Венсану не было никакого дела до происходящего вокруг. Они не были эксгибиционистами, не имели обыкновения возбуждаться от посторонних взглядов, ловить их, следить за теми, кто их наблюдает; вот и на сей раз они устроили не оргию, а спектакль, а актеры во время представления не любят встречаться взглядом со зрителями. Юлия еще в большей мере, чем Венсан, старается ничего не видеть, однако посторонний взгляд, только что скользнувший по ее лицу, так тяжел, что она не может его не почувствовать. Она поднимает веки и видит женщину в роскошном белом платье, которая смотрит на них в упор; взгляд у нее странный: отчужденный и в то же время тяжелый, чудовищно тяжелый; тяжелый, как сама безнадежность, как само отчаяние, и Юлия буквально раздавлена этой тяжестью, она чувствует себя парализованной. Ее движения замедляются, увядают, прерываются; еще несколько стонов — и она смолкает.

А женщина в белом борется с отчаянным желанием завыть по-звериному. Она не может избавиться от этого наваждения, которое тем

более неодолимо, что тот, ради которого она хочет завыть, не услышит ее. Не в силах более сдерживаться, она издает пронзительный, жуткий вопль.

Юлия тут же очнулась от своего оцепенения; она вскакивает, хватает трусики, натягивает их, кое-как прикрывается в беспорядке разбросанной одеждой — и была такова.

Венсан не проявляет подобной прыти. Он подбирает свою рубашку и штаны, но никак не может найти трусов.

В нескольких шагах позади него застыл человек в пижаме; никто его не видит, и он, разумеется, тоже не видит никого, кроме женщины в белом.

## 38

Не в силах смириться с мыслью, что Берк отшвырнул ее, Иммакулата испытывала сумасшедшее желание бросить ему вызов, поиздеваться над ним, покрасоваться перед этим подонком во всей непорочной белизне своей красоты (разве непорочная красота не есть белизна?); но прогулка по коридорам и холлам замка прошла из рук вон плохо: Берка там не было, а вот киношник, раньше тащившийся вслед за нею молча, как безродный пес, теперь то и дело пытается заговорить с ней громким и неприятным голосом. Ей удалось привлечь внимание к собственной особе, но внимание это было неприязненным и насмешливым, так что ей поневоле пришлось ускорить шаги; вот так, почти бегом, добралась она до края бассейна, где, столкнувшись с совокупляющейся парочкой, издала жуткий вопль.

Этот крик привел ее в сознание: она ясно видит, что оказалась в ловушке; перед ней — вода, позади нее — преследователь в пижаме. Она отчетливо понимала, что положение у нее безвыходное, что единственный выход, который у нее остался, отдает помешательством, что един-

ственное разумное действие, которое она может предпринять, столь же безумно; собрав всю свою силу воли, она решилась на второе: сделала два шага вперед и бухнулась в воду.

То, как она совершила свой прыжок, было довольно курьезно: умея, в отличие от Юлии, прекрасно нырять, она тем не менее кинулась в бассейн вперед ногами, да еще некрасиво растопырив при этом руки.

Дело в том, что любой жест, помимо своей практической функции, обладает еще определенным значением, превосходящим намерения людей, его совершающих. Когда люди в плавках бросаются в воду, в их порыве сквозит чистая радость, хотя сами они при всем при этом могут пребывать не в лучшем настроении. Совсем другое дело, когда в воду бросается одетый человек; он наверняка вознамерился утопиться, а тот, кто решил это сделать, не уходит в воду «ласточкой», а плюхается в нее мешком, так велит ему извечный язык жестов. Вот почему Иммакулата, в сущности превосходная пловчиха, будучи выряженной в белое платье, свалилась в бассейн столь жалким образом.

Безо всякого разумного повода она очутилась теперь в воде, подчинившись минутному порыву,

чье значение только сейчас начинает мало-помалу доходить до нее: она должна пережить собственное самоубийство, утопленничество, и все, что она будет делать дальше, окажется лишь балетом, пантомимой, посредством которых ее трагический жест продолжит свой безмолвный диалог с нею самой.

Упав в воду, она встает. В этом месте бассейн неглубок, вода едва доходит ей до талии; несколько мгновений она стоит столбом, держит голову прямо и выпячивает грудь. Затем снова падает. В этот момент ее шарф развязывается и плывет за ней, как плывут за мертвецами их воспоминания. Она снова выпрямляется, слегка откидывает голову и расставляет руки, после чего почти бегом делает несколько шагов в ту сторону, где дно бассейна идет под уклон, и снова скрывается под водой. Так она и продвигается вперед, подобно водоплавающей птице, какой-нибудь мифологической утке, которая то погружает голову в воду, то запрокидывает ее назад. Эти движения попеременно свидетельствуют и о ее желании жить в воздушных высотах, и погибнуть в бездне вод.

Человек в пижаме внезапно падает на колени и заливается слезами:

— Вернись, вернись, я преступник, я негодяй,

только вернись!

## 39

С другой стороны бассейна, там, где вода глубока, чешский ученый, занятый отжиманиями, удивленно наблюдает за этим спектаклем: сначала он решил, что только что появившаяся пара явилась сюда, чтобы присоединиться к предыдущей парочке, и что ему предстоит стать свидетелем одной из тех легендарных «групповух», о которых он так много слышал на строительных лесах пуританской коммунистической империи; движимый чувством стыдливости, он думал даже, что в обстоятельствах группенсекса ему было бы лучше всего поскорее ретироваться к себе в номер. Но тут жуткий крик резанул его слух, и он, застыв на выпрямленных руках, обратился в подобие статуи, будучи не в силах пошевельнуться, хотя перед этим отжался от пола всего восемнадцать раз. Женщина в белом платье у него на глазах рухнула в воду, вокруг нее зазмеился шарф и закачались на воде несколько искусственных цветов, голубых и розовых.

Неподвижный, с приподнятым торсом, чешский ученый понимает наконец, что эта женщина хочет утопиться: она пытается держать голову

под водой, но у нее не хватает силы воли, и она то и дело высовывает ее. Он присутствует при самоубийстве, которого никогда не мог бы себе вообразить. Эта женщина больна или ранена, а может быть, спасается от преследования, она то погружается в воду, то снова и снова появляется на поверхности; плавать, разумеется, она не умеет; с каждым мигом она погружается все чаще и чаще, скоро вода зальет ее с головой и она умрет под беспомощным взглядом человека в пижаме, который, стоя на коленях у кромки бассейна, со слезами на глазах наблюдает за ней.

Чешский ученый отбрасывает последние колебания: он поднимается и наклоняется над водой, согнув ноги в коленях и заведя руки назад.

Человек в пижаме уже не смотрит на женщину, завороженный мускулатурой неизвестного спортсмена, высокого, сильного и странно неуклюжего, прямо против него, в каких-нибудь пятнадцати метрах, который собирается вмешаться в драму, никоим образом его не касающуюся, драму, которую человек в пижаме ревностно хранит для самого себя и для любимой женщины. Ибо — кто же может в этом сомневаться? — он любит ее, его гнев — чувство мимолетное; он не способен ненавидеть ее искренне и долго, даже

если она причиняет ему страдания. Он знает, что она действует по указке своей иррациональной и неукротимой чувствительности, своей волшебной чувствительности, которую он хоть и не понимает, но обожает. Даже если ему и пришлось осыпать ее грязной бранью, внутренне он убежден, что она невинна и единственным виновником их неожиданного разлада был кто-то другой. Он не знает его, не знает, где тот находится, но готов наброситься на него с кулаками. Вот в таком состоянии духа он смотрит на человека, в спортивной позе склонившегося над водой; словно загипнотизированный, он смотрит на его тело, сильное, мускулистое и удивительно нескладное, с широкими, совсем женскими бедрами, с толстыми, совсем неинтеллигентными икрами, — абсурдное тело, воплощенная несправедливость. Он ничего не знает об этом человеке и ни в чем его не подозревает, но, ослепленный своим страданием, видит в этом монументе безобразия символ собственного горя и чувствует к нему неодолимую ненависть.

Чешский ученый ныряет и, сделав несколько мощных движений брассом, приближается к женщине.

— Оставь ее, — вопит человек в пижаме и тоже

бросается в воду.

Ученый уже метрах в двух от женщины, его ноги . касаются дна.

Человек в пижаме плывет к нему с криком:

— Оставь ее в покое! Не трогай ее!

Ученый подхватывает женщину; испустив глубокий вздох, она замирает у него на руках. Человек в пижаме подплывает совсем близко к нему:

— Оставь ее, или я тебя убью!

Сквозь слезы он не видит перед собой ничего, кроме бесформенного силуэта. Он хватает его за плечи, изо всей силы трясет. Ученый спотыкается, женщина падает у него из рук. Ни один из мужчин больше не занимается ею, она благополучно доплывает до лестницы и поднимается наверх.

Человек в пижаме, не в силах сдержаться, бьет ученого по лицу.

Ученый чувствует боль во рту. Он проводит языком по одному из передних зубов и устанавливает, что тот шатается. Это искусственный зуб, соединенный винтом с корнем трудолюбивыми стараниями пражского дантиста, который вставил ему вокруг этого и другие искусственные зубы, старательно объяснив, что центральный

зуб — основа всей конструкции и что, если он пострадает, ученому придется вставлять искусственную челюсть, чего тот боится как огня. Ученый ощупывает языком пострадавший зуб и постепенно бледнеет, сперва от страха, потом от ярости. Перед ним мгновенно возникает вся его жизнь, в который раз за день слезы застилают его глаза; да, он плачет, и из глубины его слез всплывает новая мысль: он все потерял, у него остались только мускулы, но что в них проку? Подобно могучей пружине, этот вопрос приводит в движение его руку, наносящую чудовищной силы пощечину, непомерную, как ужас перед искусственной челюстью, как полувековой сексуальный разгул на кромках всех французских бассейнов. Человек в пижаме уходит под воду.

Его падение было столь быстрым и безукоризненным, что чешскому ученому кажется, будто он убил его; после минутного колебания он наклоняется, вытаскивает его из воды, слегка шлепает по лицу; человек раскрывает глаза, его отсутствующий взгляд останавливается на бесформенном видении, потом он вырывается и плывет к лестнице, где его ждет любовница.

## 40

Сидя на краю бассейна, она внимательно следила за человеком в пижаме, за его борьбой и падением. Когда он выполз на выстланный плиткой борт бассейна, она поднимается и идет к лестнице, не оборачиваясь, но и не торопясь, так, чтобы он мог поспеть за нею. Ни слова не говоря, мокрые с головы до ног, они пересекают холл (давно уже опустевший), сворачивают в коридор, добираются до своего номера. Они промокли до нитки, они дрожат от холода, им нужно согреться.

А потом?

Что значит — потом? Сейчас они займутся любовью, что им еще остается? Этой ночью они будут вести себя тише воды, ниже травы, только она будет слегка постанывать, словно кто-то разобидел ее. Таким образом, все будет иметь продолжение, и пьеса, которую они только что разыграли в первый раз этим вечером, будет повторена в ближайшие дни и недели. Чтобы доказать, что она выше всякой пошлости, выше заурядного мира, который ее окружает, она снова вынудит его стать на колени, она будет рыдать и

винить его во всем, в результате чего еще более обозлится, станет наставлять ему рога, бахвалиться своей неверностью; станет мучить его, а он начнет артачиться, грубить, угрожать, решится на какую-нибудь другую выходку, разобьет, например, вазу, выкрикнет ей в лицо несколько гнусных оскорблений, она снова притворится, будто ей страшно, обвинит его в том, что он насильник и агрессор, и тогда он вновь упадет на колени, расплачется, признает свою вину, потом она позволит ему переспать с ней, и так далее, и так далее — на целые недели, месяцы, годы, на целую вечность.

## 41

А что же чешский ученый? Приложив язык к шатающемуся зубу, он говорит себе: вот и все, что осталось от твоей жизни: разбитый зуб и панический страх перед тем, что придется вставлять искусственную челюсть, — и больше ничего? Больше ничего. Ровным счетом. В порыве внезапного озарения все его прошлое предстает перед ним не как полоса героических деяний, богатых драматическими и единственными в своем роде событиями, а как жалкая песчинка в смутном ворохе случайных фактов, взбудораживших планету и унесшихся куда-то с такой быстротой, что невозможно было их как следует рассмотреть и осмыслить. Так что Берк, быть может, совершенно прав, принимая его за венгра или поляка, да что там говорить, возможно, он и в самом деле венгр, поляк, не исключено, что и турок, русский или ребенок, умирающий в Сомали. Когда все несется с такой быстротой, никто не может быть уверен ни в чем, ровным счетом ни в чем, даже в самом себе.

Воскрешая в памяти ночь госпожи де Т., я вспомнил известное уравнение, приводимое

на первых же страницах учебника экзистенциальной математики: степень скорости прямо пропорциональна интенсивности забвения. Из этого уравнения можно вывести различные следствия, например, такое наша эпоха отдалась демону скорости и по этой причине, не в последнюю очередь, так легко позабыла самое себя. Но мне хотелось бы перевернуть это утверждение с ног на голову и сказать; нашу эпоху обуяла страсть к забвению, и, чтобы удовлетворить эту страсть, она отдалась демону скорости; она все убыстряет свой ход, ибо хочет внушить нам, что она не нуждается в том, чтобы мы о ней вспоминали; что она устала от самой себя, опротивела самой себе; что она хочет задуть крохотный трепещущий огонек памяти.

Дорогой мой соотечественник и друг, знаменитый открыватель musca pragensis, героический строительный рабочий, я не хочу больше страдать, видя тебя торчащим в воде Так ты можешь подхватить смертельную простуду. Друг! Брат! Не терзай себя. Выходи. Отправляйся спать. Радуйся тому, что ты всеми забыт. Закутайся в шаль всеобщего сладострастного беспамятства. Не думай о смехе, причинившем тебе боль; он канул в прошлое, этот смех, точно так же, как канули

в прошлое годы, проведенные тобой на стройке, как твоя слава гонимого борца за свободу. Замок спокоен, отвори окно — и запах цветущих деревьев наполнит твою комнату. Вдохни его. Это трехсотлетние каштаны. Их шелест слышали мадам де Т. и ее кавалер, когда предавались любви в павильоне, который тогда был еще виден из твоего окна, но ты — увы! — уже не увидишь его, потому что он был разрушен лет пятнадцать спустя, во время революции 1789 года, и от него осталось только несколько страниц в новелле Вивана Денона, которую ты никогда не читал и, скорее всего, никогда не прочтешь.

## 42

Венсан так и не нашел свои трусы, он натянул штаны и рубашку на мокрое тело и пустился бежать вслед за Юлией. Она была слишком проворна, а он чересчур медлителен. Он обежал все коридоры и увидел, что она куда-то испарилась. Не зная, где находится ее номер, он счел свои шансы весьма шаткими, но тем не менее продолжал блуждать по коридорам, надеясь, что какая-нибудь из дверей отворится и голос Юлии окликнет его: «Иди сюда, Венсан, иди сюда». Однако все спали, везде стояла тишина, и все двери были заперты. «Юлия, Юлия», — шептал он, переходя с шепота на обычный голос, с обычного голоса на крик, но ответом ему была только тишина. Юлия не покидала его воображения. Он представлял себе ее лицо, озаренное лунным светом. Представлял себе дырку в ее попке. Ах, черт побери, эта дырка красовалась прямо перед ним, а он оплошал, так жутко оплошал! Не коснулся ее и даже толком не рассмотрел. Этот роковой образ снова у него перед глазами, и он чувствует, что его бедный член пробуждается, поднимается, восстает — да еще как: бесполезно, безрассудно

и непомерно.

Вернувшись к себе в номер, он рухнул в кресло, сознавая, что с ног до головы охвачен страстью к Юлии. Он готов был сделать что угодно, чтобы вновь обрести ее, но делать ему было нечего. Завтра утром она явится позавтракать в столовую, но он-то — увы! — уже будет в своем парижском кабинете. Он не знает ни ее адреса, ни ее фамилии, ни места работы, ровным счетом ничего. Он остался один на один со своим безграничным отчаяньем, материализовавшимся в несообразной величине его члена.

Всего какой-нибудь час назад этот бравый господинчик выказал столько здравого смысла, держал себя в разумных рамках, а в своей достопамятной речи сумел оправдать это поведение с помощью доводов, которые произвели на всех нас самое глубокое впечатление; теперь же я сильно сомневаюсь в рассудительности того же самого органа, утратившего на сей раз какие бы то ни было признаки здравого смысла; не заручившись никаким серьезным оправданием, он восстал против всей вселенной, подобно Девятой симфонии Бетховена, которая, лицом к лицу со скорбным человечеством, горланит свой гимн радости.

## 43

Вера снова просыпается.

— Зачем ты врубил радио на всю катушку? Ты разбудил меня.

— Я не слушаю радио. У нас тихо, как никогда.

— Нет, ты слушал радио, и это некрасиво с твоей стороны. Я же спала.

— Клянусь тебе!

— А потом, как ты только можешь слушать этот дурацкий гимн радости?

— Прости меня. Во всем снова повинно мое воображение.

— При чем тут твое воображение? Разве ты написал Девятую симфонию? Ты что, принимаешь себя за Бетховена?

— Нет, я совсем не то хотел сказать.

— Никогда еще эта симфония не казалась мне такой невыносимой, такой неуместной, по-мальчишески напыщенной, такой глупой, такой наивно-вульгарной. Я так больше не могу. Чаша моего терпения переполнилась. Я не хочу больше ни минуты оставаться в этом заколдованном замке. Прошу тебя, давай уедем. Впрочем, заря уже занимается.

И она встает с постели.

## 44

Раннее утро. Я думаю о финальной сцене новеллы Вивана Денона. Ночь любви, проведенная в тайном кабинете замка, завершилась появлением горничной, конфидентки Графини, возвестившей любовникам о наступлении утра. Кавалер поспешно одевается, выходит, но запутывается в коридорах замка. Опасаясь быть обнаруженным, он отправляется в парк, делая вид, что хорошо выспался, но, рано проснувшись, решил прогуляться. Голова у него еще тяжелая, он пытается понять смысл своего ночного приключения: неужели мадам де Т. порвала со своим любовником Маркизом? или ждет повода для разрыва? или она только хотела его наказать? каким будет следствие ночи, которая только завершилась? Погрузившись в эти вопросы, он внезапно видит перед собой Маркиза, любовника мадам де Т. Он только что прибыл и бросается к кавалеру.

— Как все прошло? — с нетерпением спрашивает он у него.

Последовавший вслед за тем диалог наконец-то открывает глаза кавалеру на суть его приключе-

ния: оно должно было отвлечь внимание мужа на лжелюбовника, роль которого выпало играть ему.

— Не слишком благодарная роль, — соглашается Маркиз, — скорее смехотворная. — И, как бы желая отблагодарить кавалера за его жертву, он делает ему ! несколько признаний: мадам де Т. — женщина восхитительная и беспримерно верная; у нее одна лишь слабость: телесная холодность.

Они вместе возвращаются в замок, чтобы пожелать мужу доброго утра. Тот приветливо говорит с Маркизом, но, когда очередь доходит до кавалера, обращается к нему неприязненно, советуя как можно скорее покинуть замок, после чего любезный Маркиз предлагает молодому человеку свою карету.

Потом Маркиз и кавалер наносят визит мадам де Т. Под конец разговора она улучает миг, чтобы шепнуть кавалеру несколько ласковых слов; вот эти прощальные фразы, как они переданы в новелле:

— Теперь вас зовет ваша любовь; ваша возлюбленная, без сомнения, достойна ее. Прощайте же еще раз. Вы очаровательны… Не пытайтесь поссорить меня с Графиней…

«Не пытайтесь поссорить меня с Графиней»

— таковы были последние слова мадам де Т., обращенные к любовнику. Затем следуют последние слова новеллы: «Я сел в ожидавший меня экипаж. Я пытался отыскать смысл всего этого приключения, но… мне не удалось его найти».

Однако смысл в нем есть: его воплощает в себе мадам де Т.: она солгала мужу, солгала своему любовнику Маркизу, солгала юному кавалеру. В этом она представляется истинной ученицей Эпикура. Любезная подруга наслаждений. Нежная лгунья-покровительница. Хранительница счастья.

## 45

Новелла рассказана кавалером от первого лица. Он ничего не знает о том, что в самом деле думает мадам де Т., и явно стесняется, говоря о собственных чувствах и мыслях. Внутренний мир обоих персонажей остается скрытым или полускрытым.

Когда ранним утром Маркиз говорит о холодности своей любовницы, кавалер мог бы исподтишка рассмеяться, ибо она только что доказала нечто противоположное. Но, не считая этой уверенности, он ничем больше не располагает. Как смотреть на то, что мадам де Т. переспала с ним: было ли это для нее частью повседневной рутины или редкостным, чуть ли не единственным приключением? Было ли ее сердце тронуто или осталось равнодушным? Пробудила ли в ней ночь любви ревность к Графине? Были ли искренними ее последние слова, обращенные к кавалеру, или их продиктовала ей простая необходимость безопасности? Поверг ли ее в грусть отъезд кавалера или оставил безучастной?

А что касается его самого: когда ранним утром Маркиз обратился к нему с насмешливым во-

просом, он сумел на него ответить и остаться хозяином положения. Но что кавалер чувствовал на самом деле? И каковы были его чувства в тот момент, когда он покидал замок? О чем он думал? Об испытанном им наслаждении или о своей смехотворной славе чересчур покладистого юнца? Чувствовал ли он себя победителем или побежденным? Счастливым или несчастным?

Иначе говоря: можно ли жить среди наслаждений и ради наслаждений и при этом быть счастливым? Достижим ли идеал гедонизма? Существует ли надежда на это? Или хотя бы слабый проблеск такой надежды?

## 46

Он устал до смерти. Ему хочется рухнуть на постель и как следует выспаться, но он боится, что его не разбудят вовремя. Он должен, самое позднее, отбыть через час. Сидя в кресле, он нахлобучил на голову шлем мотоциклиста, думая, что его тяжесть не дает ему забыться. Но сидеть в шлеме на голове и не иметь возможности заснуть — это же полная бессмыслица. Он встает, решив трогаться.

Неминуемость отъезда навела его на мысли о Понтевене. Ах, уж этот Понтевен! Непременно начнет мучить его расспросами. Что бы ему рассказать? Если поведать обо всем, что произошло на самом деле, это наверняка позабавит и его, и всю его компанию. Всегда забавно, когда рассказчик играет комическую роль в своей собственной истории. Никто, впрочем, не умеет делать это лучше, чем сам Понтевен. Например, когда он описывает свой опыт с машинисткой, которую он за волосы потащил в постель, приняв за другую. Но внимание! Понтевен хитер. Все считают, что его комический рассказ таит в себе истину куда более лестную. Слушатели вожделеют к его

маленькой подружке, требующей от него жестокости, и завистливо воображают хорошенькую машинистку, с которой их божество вытворяет все что хочет. А если он, Венсан, примется рассказывать историю о притворном совокуплении на краю бассейна, все ему поверят и поднимут на смех за его оплошность.

Он расхаживает взад-вперед по своему номеру, пытаясь хоть как-то подправить свою историю, переделать ее, добавить к ней кое-какие штрихи. Первым делом надо превратить притворное совокупление в настоящее. Он представил себе людей, спускающихся к бассейну, они удивлены и возбуждены их любовными объятиями; они торопливо раздеваются; одни только глазеют на них, другие пытаются им подражать, и когда Венсан и Юлия видят вокруг себя эту великолепную групповуху, находящуюся в самом разгаре, со всеми ее утонченными мизансценами, они встают, смотрят еще несколько секунд на судорожно дергающиеся парочки, а потом, словно демиурги, только что сотворившие новый мир, удаляются. Они удаляются тем же манером, как и встретились, каждый в свою сторону, удаляются, чтобы никогда не увидеться больше.

Но едва ужасные последние слова «чтобы

никогда не увидеться больше» прозвучали в голове Венсана, как его мужественный молодчик пробудился, и Венсану захотелось как следует трахнуться головой об стенку.

И вот что самое забавное: в то время как он воображал сцену оргии, его нездоровое возбуждение ослабело, а стоило ему снова вспомнить о Юлии, настоящей, живой, но отсутствующей, как он снова возбуждался до умопомешательства. Ему, стало быть, оставалось только цепляться за свою выдуманную историю орган, он сначала воображал ее, а потом вновь и вновь рассказывал сам себе: они занимаются любовью, со всех сторон сбегаются парочки, глазеют на них, раздеваются, и вскоре вокруг бассейна начинает бушевать неистовая групповуха. Наконец, после многих репетиций этого маленького порнографического фильма, он чувствует себя лучше, его член становится более рассудительным, почти спокойным.

Венсан представляет себе «Гасконское кафе», своих дружков, внимающих его рассказу. Машу скалится в обольстительной идиотской улыбке, Гужар вставляет свои ученые замечания. В заключение он скажет им: «Друзья мои, я трахался за всех вас, все ваши причиндалы играли свою роль на этом великолепном газоне. Я был вашим

уполномоченным, вашим послом, я был вашим депутатом-трахальщиком, вашим взятым напрокат членом, вашим коллективным кием!»

Он расхаживает по номеру и без конца громко повторяет последнюю фразу. Коллективный кий, что за блистательная находка! Потом (мучительное возбуждение уже полностью исчезло) он хватает свой рюкзак и выходит.

## 47

Вера отправилась оплачивать счета, а я с небольшим чемоданчиком в руке спустился к нашей машине, стоящей во дворе. Сожалея, что вульгарная Девятая симфония не дала моей жене выспаться и поторопила нас с отъездом из этого места, где я чувствовал себя так хорошо, я напоследок осматриваюсь вокруг с некоторой ностальгией. Подъезд замка. Именно к нему вышел вежливый и чопорный муж мадам де Т., чтобы принять свою супругу в обществе молодого кавалера, когда карета остановилась здесь в наступающих сумерках. Именно из этого подъезда десятью часами позже вышел кавалер, теперь уже в одиночку, без какого-либо сопровождения. После того как дверь апартаментов госпожи де Т. захлопнулась за ним, он услышал смех Маркиза, к которому скоро присоединился другой смех, женский. Он на секунду замедлил шаги: чему они смеются? насмехаются над ним? Он не хочет вслушиваться и, не мешкая, направляется к выходу; однако в его душе продолжает звучать этот смех; он никак не может от него избавиться, да так никогда и не избавился. Ему все вспоминает-

ся фраза Маркиза: «Стало быть, ты не чувствуешь всей комичности своей роли?» Когда, ранним утром, Маркиз задал ему этот ехидный вопрос, он и бровью не повел. Он знал, что Маркиз — рогоносец, и с радостью повторял себе, что госпожа де Т. либо собирается покинуть Маркиза, и тогда он непременно увидит ее вновь, либо она хочет тому за что-то отомстить, и свидание с ней остается вполне вероятным (ибо сегодняшняя месть ведет за собою завтрашнюю). Но так он мог думать еще час назад. После заключительных слов мадам де Т. все стало ясно: ночь останется без последствий. Никакого завтра.

Он выходит из замка в холодное утреннее одиночество; говорит себе, что от только что пережитой ночи ему не остается ничего, кроме этого смеха: потешная история начнет распространяться, он станет комическим персонажем. Достоверно известно, что ни одна женщина не пожелает связываться со всеобщим посмешищем. Не спросив его согласия, на голову ему напялили шутовской колпак, а он не чувствует себя достаточно сильным, чтобы носить такой головной убор. Он слышит внутренний голос, подстрекающий его к бунту, призывающий во всеуслышание поведать всему свету о том, что с

ним приключилось.

Но сознает, что это ему не под силу. Прослыть грубияном еще хуже, чем посмешищем. Он не может предать мадам де Т. И никогда не предаст ее.

## 48

Венсан выходит из замка в другую дверь, более неприметную, и оказывается во дворе. Он все повторяет про себя историю с пьяной оргией возле бассейна, но не ради ее успокоительного эффекта (все его возбуждение как рукой сняло), а для того, чтобы заглушить невыносимое, душераздирающее воспоминание о Юлии. Он знает, что только выдуманная им история поможет ему забыть реальное прошлое. Ему хочется тут же и во весь голос рассказать эту новую историю, подкрепив ее торжественными звуками фанфар и труб, которые сведут к нулю и сделают как бы несуществовавшим его жалкое поддельное совокупление, из-за которого он потерял Юлию.

«Я был коллективным кием», — повторяет он и слышит в ответ сочувственный смех Понтевена, видит перед собой обольстительную ухмылку Машу, говорящего ему: «Ты у нас теперь коллективный кий, так тебя и будут звать: Коллективный Кий». Эта идея приходится ему по душе, и он улыбается.

Направляясь к своему мотоциклу, стоящему в другом конце двора, он замечает человека чуть

моложе себя, выряженного в старинный костюм и идущего ему навстречу. Венсан таращит на него глаза. До какой же степени он обалдел после бессонной ночи: он не в состоянии даже разумно объяснить появление этого видения. Может, это актер в историческом костюме, имеющий какое-то отношение к той доброй женщине с телевидения? Уж не снимали ли они вчера в замке рекламный ролик на историческую тему? Но когда их глаза встречаются, он видит во взгляде молодого человека столь искреннее удивление, какого не мог бы изобразить самый опытный талантливый актер.

## 49

Юный кавалер смотрит на незнакомца. Особое его внимание привлекает головной убор. В таких шлемах два-три века назад рыцари отправлялись на войну. Но не менее удивительной, чем шлем, кажется ему неприглядная одежда молодого человека. Длинные, широкие, бесформенные штаны, которые могли носить разве что бедные крестьяне. Или, может быть, монахи.

Он чувствует себя усталым, совершенно вымотавшимся, ему недалеко до обморока. Быть может, он спит, быть может, грезит, быть может, бредит. Наконец человек останавливается в двух шагах от него и произносит фразу, которая лишь увеличивает его недоумение:

— Слушай, а ты случаем не из восемнадцатого века?

Вопрос курьезен, абсурден, но тон, которым он был произнесен, еще забавней: совершенно незнакомая интонация, как будто он слышит посланца из какого-то неведомого королевства, учившего французский язык по книгам вдали от Франции. Эта интонация, это невозможное произношение убеждают кавалера, что его собеседник

и впрямь мог явиться из другого времени.

— Да, а ты из какого? — спрашивает он.

— Я-то? Из двадцатого, — отвечает тот и уточняет: — Из конца двадцатого века. Я провел сегодня изумительную ночь.

Эта фраза поражает кавалера.

— Я тоже, — говорит он.

Он воображает госпожу де Т. И чувствует, что его внезапно охватывает волна благодарности. Господи Боже, как он мог обращать столько внимания на смех Маркиза? Разве главным событием минувшей ночи не была ее немыслимая красота, которая до сих пор держит его в состоянии такого опьянения, что он видит наяву призраков, путает сны с действительностью, чувствует себя находящимся вне своего времени.

А человек в шлеме все с той же забавной интонацией повторяет:

— Я провел сегодня совершенно изумительную ночь.

Кавалер кивает головой, как бы говоря: «Да-да, друг, я тебя понимаю. Кто еще мог бы тебя понять?» И думает: обещав держать язык за зубами, он никогда и никому не сможет поведать о том, что же с ним произошло. Но разве откровенность по прошествии двухсот лет остается все той же от-

кровенностью? Ему кажется, что Бог либертинов послал ему этого человека, чтобы он мог излить ему душу, чтобы он мог рассказать правду, не нарушая клятвы насчет неразглашения тайны, чтобы он мог перенести один из моментов своей жизни куда-то в будущее, спроецировать его в вечность, преобразить светом славы.

— Так ты и в самом деле из двадцатого века?

— Ну разумеется, старина. Необычайные, скажу я тебе, вещи творятся в этом веке. Царит свобода нравов. Я сам только что пережил, повторяю, необыкновенную НОЧЬ,)

— Я тоже, — второй раз говорит кавалер и готовится рассказать собеседнику свою историю.

— Удивительную, диковинную, прямо-таки невероятную ночь, — повторяет человек в шлеме, уставившись на него настойчивым взглядом. Кавалер видит в этом взгляде упорное стремление говорить. Это упорство чем-то тревожит его. Он понимает, что эта страсть к словоизлияниям является в то же время неумолимым равнодушием к рассказам другого. Столкнувшись с этой страстью к говорению, кавалер разом теряет всякое желание беседовать о чем бы то ни было и вообще не видит более причины для продолжения встречи.

На него накатывается новая волна усталости. Он растирает лицо рукой и чувствует запах любви, оставленный мадам де Т. на его пальцах. Этот запах снова вызывает у него прилив ностальгии, он хотел бы оказаться один в карете, которая неспешно, убаюкивая, доставит его в Париж.

## 50

Человек в старинном костюме кажется Венсану совсем молодым и, стало быть, почти обязанным выслушивать откровения более взрослых особ. Когда Венсан дважды сказал ему: «Я провел изумительную ночь», а его собеседник отозвался: «Я тоже», ему показалось — на его лице промелькнуло любопытство, но затем совершенно необъяснимым образом оно погасло, притушенное почти высокомерным равнодушием. Дружеская атмосфера, благоприятствующая откровениям, длилась от силы минуту, а вслед за тем рассеялась.

Он смотрит на костюм молодого человека с раздражением. Да кто он в конце концов, этот клоун? Башмаки с серебряными пряжками, белые панталоны в обтяжку и все эти неописуемые жабо, бархотки и кружева, что покрывают и украшают его грудь. Он берет двумя пальцами кончик ленты, обмотанной вокруг шеи кавалера, и разглядывает ее с улыбкой, выражающей пародийное восхищение.

Фамильярность этого жеста привела человека в старинном костюме в ярость. Лицо его скри-

вилось от ненависти. Он машет правой рукой, как бы желая влепить пощечину этому нахалу. Венсан выпускает ленту и отступает на шаг. Бросив на него взгляд, полный презрения, кавалер поворачивается и шагает к карете. Презрение, которым он окатил Венсана, снова повергло того в пучину замешательства. Внезапно он чувствует себя совсем слабым. Он понимает, что никому не станет распространяться о происшествии на газоне. У него не хватит сил солгать. Он слишком грустен для вранья. У него только одно желание: поскорее забыть эту испорченную ночь, стереть ее, словно резинкой с бумаги, изгладить из памяти, уничтожить — и в этот самый миг его захлестывает ненасытная жажда скорости.

Он решительным шагом направляется к своему мотоциклу, он вожделеет к нему, он полон любви к этой машине, оседлав которую забудет все, даже самого себя.

## 51

Вера только что устроилась в машине рядом со мной.

— Посмотри-ка вон туда, — говорю ей я.

— Куда?

— Да вот туда. Это же Венсан. Ты его не узнаешь?

— Венсан? Это тот, что садится на мотоцикл?

— Да. Я боюсь, как бы он не газанул на всю катушку. Мне в самом деле страшно за него.

— Он любит быструю езду? И он тоже?

— Не всегда. Но сегодня он будет мчаться как сумасшедший.

— Этот замок заколдован. Он приносит всем только несчастье. Ну, поехали, прошу тебя!

— Погоди секунду.

Я хочу еще разок полюбоваться моим кавалером, неспешно направляющимся к карете. Я хочу насладиться ритмом его шагов: чем ближе он к карете, тем медленнее они становятся. В этой неспешности я угадываю признак счастья.

Кучер приветствует его, он останавливается, нюхает свои пальцы, потом поднимается, усаживается, забивается в уголок, блаженно

вытягивает ноги, экипаж трогается. Скоро он задремлет, потом проснется и в течение всего этого пути постарается держаться как можно ближе к ночи, которая неумлимо тает в свете дня.

Никакого завтра.

Никаких слушателей.

Я прошу тебя, друг, будь счастлив. У меня смутное впечатление, что в твоей способности быть счастливым единственная наша надежда.

Карета исчезает в тумане, и я трогаюсь с места.

# Подлинность
# Роман

# 1

Маленький городишко в Нормандии, гостиница на берегу моря, которую они случайно отыскали в путеводителе. Шанталь приехала в пятницу вечером, ей придется переночевать одной, без Жан-Марка, он обещал появиться на следующий день, где-нибудь после полудня. Она оставила чемоданчик в номере, вышла и, после недолгой прогулки по незнакомым улицам, вернулась в гостиничный ресторанчик. В половине восьмого зал был еще пуст. Уселась за столик в надежде, что кто-нибудь из официантов ее заметит. В другой стороне зала, возле двери на кухню, две подавальщицы что-то увлеченно обсуждали. Шанталь не хотелось повышать голос, она поднялась, пересекла зал и остановилась рядом с ними, но они были слишком увлечены предметом своей беседы: «Да говорю же я тебе, это длится уже лет десять. Я их всех знаю. Ужас, да и только. И никаких следов. Никаких. Об этом сообщали по телеку». — «А что с ним могло случиться?» — «И вообразить невозможно, в том-то и весь кошмар». — «Убийство?» — «Все окрестности обшарили». — «Похищение?» — «Да кто его мог

похитить? И с какой стати? Что он — богач какой-нибудь или важная шишка? Их показывали по телеку. Жену его, ребятишек. Полная безнадега. Представляешь?»

Тут она заметила Шанталь:

— А вы смотрите по телеку передачи про исчезнувших людей? «Пропавшие бесследно» — вот как это называется.

— Да, — сказала Шанталь.

— Тогда вы, наверно, в курсе того, что случилось с семьей Бурдьё. Они ведь здешние.

— Да, это чудовищно, — согласилась Шанталь, не зная, как перевести разговор с трагической темы на пошлую проблему ужина.

— Вы небось хотите покушать, — догадалась наконец вторая подавальщица.

— Ну да.

— Сейчас позову метрдотеля, а вы пока присядьте.

— Нет, вы только представьте себе, — добавила ее напарница, — человек, которого вы любите, бесследно исчезает, и вам никогда не узнать, что же с ним произошло! Хочешь не хочешь, а крыша поедет!

Шанталь вернулась к себе за столик; метрдотель появился минут через пять; она заказала

совсем простенький холодный ужин; она не любила есть в одиночку, она, ах, она терпеть не могла есть в одиночку!

Она резала ветчину и все никак не могла отделаться от мыслей, пробужденных официантками: как это может случиться, что в мире, где каждый наш шаг контролируется и регистрируется, где люди без конца натыкаются друг на друга, где в супермаркетах за нами следят телекамеры, где человеку не дадут даже заняться любовью, не напустив на него анкетчиков и репортеров («где вы занимаетесь любовью? сколько раз в неделю? с презервативом или без?»), — как это может случиться, чтобы кому-то удалось ускользнуть из-под контроля и исчезнуть без следа? Да, она знала эту передачу под наводящим ужас названием «Пропавшие бесследно» — единственную передачу, которая обезоруживала своей искренностью и печалью, словно во время нее какая-то неведомая внешняя сила вынуждала телевизионщиков отставить в сторону свою обычную развязность; в которой диктор серьезным тоном обращался к зрителям с просьбой сообщить хоть что-нибудь, что помогло бы напасть на след исчезнувшего. В конце таких передач одну за другой показывают фотографии всех «пропавших

бесследно», о которых говорилось в предыдущих выпусках; кое-кого из них не удалось обнаружить и за одиннадцать лет.

Ей представилось, что точно таким же образом она может когда-нибудь потерять Жан-Марка. Остаться одной, в полном неведении, во власти самых жутких предположений. Она не могла бы даже покончить с собой: ведь такой конец был бы предательством, отказом от ожидания, утратой терпения. Она была бы принуждена жить до конца своих дней в непрестанном ужасе.

## 2

Она поднялась к себе в номер, кое-как заснула и пробудилась среди ночи после долгой череды сновидений. Они были населены персонажами из ее прошлого: ее мать (давно уже покойная) и, главное, ее прежний муж (она не видела его уже много лет и он был не похож сам на себя, словно постановщик сновидения что-то перепутал в распределении ролей); он был там вместе со своей сестрой, особой властной и энергичной, и со своей новой женой (она ее никогда не видела и тем не менее во сне не сомневалась в ее подлинности); под конец бывший муж принялся одолевать ее туманными эротическими намеками, а его новая супруга поцеловала ее взасос, пытаясь всунуть ей в рот язык. Взаимооблизывание всегда вызывало у нее гадливость. От этого-то поцелуйчика она и проснулась.

Чувство омерзения, вызванное сном, было таким ошеломляющим, что она попыталась докопаться до его причины. Что ее больше всего смутило, думала она, так это произошедшее во сне полное упразднение настоящего. А она была так сильно привязана к своему настоящему,

что ни за какие сокровища не променяла бы его ни на прошлое, ни на будущее. Вот почему она терпеть не может снов: они заставляют смириться с недопустимым равенством между собой различных отрезков одной и той же жизни, с нивелирующей одновременностью всего того, что человеку довелось прожить; они подрывают уважение к настоящему. отрицая за ним его привилегии. Так оно и было в этом теперешнем сне: целый кусок ее жизни исчез куда-то без следа: Жан-Марк, их общая квартира, все прожитые с ним годы; на их месте разлеглось прошлое, его заняли люди, с которыми она давно порвала и которые теперь пытались заманить ее в сеть пошлых эротических соблазнов. Она чувствовала на губах влажные губы женщины (совсем не дурной, — выбирая актрису на ее роль, постановщик сновидения выказал изрядную требовательность), и это было ей до такой степени противно, что она среди ночи поднялась и пошла в ванную — как следует вымыться и прополоскать горло.

## 3

Ф. был стародавним другом Жан-Марка, они познакомились еще в лицее; убеждения у них были совершенно одинаковые, они сходились во всем и поддерживали тесные отношения вплоть до того дня, когда, уже много лет назад, Жан-Марк внезапно и окончательно разочаровался в нем и перестал с ним видеться. Когда ему сообщили, что Ф., не на шутку расхворавшись, лежит в одной из брюссельских больниц, он не выразил ни малейшего желания навестить его, однако Шанталь настояла, чтобы он это сделал.

Вид старого друга производил удручающее впечатление: в его памяти он остался таким, каким был в лицее, хрупким, всегда безукоризненно одетым подростком, наделенным таким врожденным изяществом, что рядом с ним Жан-Марк чувствовал себя каким-то бегемотом. Тонкие, почти женственные черты лица, благодаря которым Ф. выглядел прежде моложе своих лет, теперь только старили его: лицо казалось гротескно крошечным, сморщенным, морщинистым — ни дать ни взять личико египетской царевны, мумифицированной четыре тысячи лет назад;

Жан-Марк покосился на его руки: одна из них неподвижно застыла под капельницей, в вену была введена игла; другой он то и дело размахивал, помогая себе при разговоре. Еще в юности, глядя, как его друг жестикулирует, Жан-Марк не мог отделаться от впечатления, что на миниатюрном теле Ф. руки выглядели совсем маленькими, крохотными, словно у марионетки. Это давнишнее впечатление только усилилось во время визита Жан-Марка в больницу — ребяческая жестикуляция Ф. никак не вязалась с серьезным тоном его речей; друг рассказывал ему, что пролежал в коме много дней, пока врачам не удалось вернуть его к жизни…

— Ты ведь слыхал о свидетельствах людей, прошедших через смерть. Толстой говорит об этом в каком-то из своих рассказов. Туннель — а в конце него свет. Манящая красота инобытия. А я, клянусь тебе, никакого света не видел. И, что хуже всего, никакого намека на бессознательное состояние. Все сознаешь, все чувствуешь, вот только врачам это невдомек, и они несут в твоем присутствии всякую околесицу, даже такую, которую тебе вроде бы не полагается слушать. Что тебе каюк. Что мозги у тебя набекрень.

Он на мгновение запнулся. А потом продол-

жал:

— Не хочу сказать, что сознание мое было абсолютно ясным. Я все понимал, но это «все» было слегка искаженным, словно во сне. А временами сон переходил в кошмар. Только в жизни кошмар быстро кончается: стоит тебе закричать — и ты уже проснулся. Но я не мог закричать. Весь ужас был в том, что я не мог. Был просто не способен закричать в самый разгар кошмара.

Он снова умолк. А потом продолжал:

— Я никогда не боялся умереть. А теперь боюсь. Не могу избавиться от мысли, что после смерти останешься в живых. Что умереть — значит жить в бесконечном кошмаре. Ну да ладно. Ладно уж. Поговорим о чем-нибудь еще.

До своего визита в больницу Жан-Марк был уверен, что ни одному из них не удастся увильнуть от воспоминания об их разрыве и что ему волей-неволей придется сказать Ф. хоть несколько неискренних слов примирения. Но его опасения оказались напрасными: мысли больного просто не могли обратиться к столь ничтожным темам. Как бы Ф. ни хотел «поговорить о чем-нибудь еще», он продолжал распинаться только о своем исстрадавшемся теле. Его рассказ нагнал на Жан-Марка глубокую тоску, но не пробудил в нем ни

малейшего сострадания.

## 4

Неужто он и вправду такой холодный, такой бесчувственный? Как-то, уже много лет назад, он узнал, что Ф. его предал; словечко, что и говорить, чересчур романтичное, есть в нем что-то ходульное: однажды, на каком-то собрании, где сам Жан-Марк не присутствовал, все ополчились на него так ретиво, что в результате он лишился своей должности. Ф. на этом собрании был. Он был на нем — и не вымолвил ни единого слова в защиту Жан-Марка. Его крохотные ручки, столь охочие до жестикуляции, не произвели ни малейшего жеста в пользу друга. Боясь допустить ошибку, Жан-Марк провел досконально расследование выяснил, что Ф. и в самом деле промолчал. Когда сомневаться больше уже не приходилось, он на несколько мгновений почувствовал себя глубоко уязвленным; потом решил никогда больше с другом не видеться; тут же после принятия этого решения его охватило чувство необъяснимо радостного облегчения.

Ф. завершал изложение своих напастей; после очередной паузы его личико крохотной мумифицированной царевны прояснилось:

— А ты помнишь наши лицейские беседы?

— Не очень-то, сказать по правде, — признался Жан-Марк.

— Я всегда слушал тебя, как учителя, когда ты заводил речь о барышнях.

Жан-Марк попытался вспомнить, но никакого следа этих давних бесед в памяти у него не оставалось: «Да что же это такое я, шестнадцатилетний сопляк, мог плести тебе о барышнях?»

— У меня и сейчас перед глазами, — продолжал Ф. — Я стою перед тобой и несу какую-то околесицу насчет барышень. Вспомни-ка, что меня мутило при одной мысли о том, что прекрасное девичье тело может служить инструментом для всякого рода секреций; я тебе признался, что видеть не могу, когда барышня сморкается. А ты остановился, смерил меня взглядом и произнес тоном, не допускающим возражений, искренним и твердым: сморкается? Да мне достаточно увидеть, как она моргнет, как веко у нее прикроет роговицу, — и меня прямо с души воротит. Припоминаешь?

— Нет, — ответил Жан-Марк.

— Да как ты мог такое забыть? Веко, прикрывающее роговицу? Одно выражение чего стоит!

Но Жан-Марк не лукавил; он начисто все за-

был.

Впрочем, он даже и не пытался копаться у себя в памяти. Он думал совсем о другом: вот он, истинный и единственный смысл дружбы; она вроде зеркала, в котором ты можешь видеть себя таким, каким был прежде; без вечной трепотни о прошлом между приятелями от этого образа давно бы уже ничегошеньки не осталось.

— Веко. Ты и в самом деле ничего не помнишь?

— Нет, — сказал Жан-Марк, а потом произнес про себя: «Ты никак не хочешь понять, что мне начхать на зеркало, которое ты мне подставляешь».

Ф. чувствовал себя усталым и замолк, словно воспоминание о девическом веке лишило его последних сил.

— Тебе следовало бы поспать, — сказал Жан-Марк, поднимаясь.

Выходя из больницы, он ощутил неодолимое желание оказаться рядом с Шанталь. Не будь он таким измотанным, он пустился бы в путь тотчас же. Перед приездом в Брюссель он размечтался о том, как плотно позавтракает в гостинице на следующее утро, как спокойно, без всякой спешки отправится обратно. Но, повидавшись с Ф., он по-

ставил свой дорожный будильник на пять часов.

## 5

Еле живая после ужасной ночи, Шанталь вышла из гостиницы. По дороге, ведущей к взморью, ей встретились туристы, приехавшие, чтобы провести здесь уик-энд. Их группы были словно подобраны по одной схеме: мужчина катил каталку с младенцем, женщина семенила с ним рядом; лицо мужчины было добродушным, внимательным, улыбчивым, слегка озабоченным и готовым склониться к младенцу, утереть ему нос, унять его вопли; лицо женщины было пресыщенным, рассеянным, самодовольным, а подчас даже непонятно почему злым. Эту схему Шанталь пришлось наблюдать в разных вариантах: идущий рядом с женщиной мужчина катил каталку, а на спине в специальном рюкзачке нес малыша; идущий рядом с женщиной мужчина катил каталку, нес одного малыша на плечах, а другого — в рюкзачке на животе; идущий рядом с женщиной мужчина не катил каталку, а вел одного ребенка за ручку, трое других располагались у него за спиной, на плечах и на животе. И наконец, женщина самостоятельно, без мужчины, катила каталку; катила так напористо,

что любой мужчина позавидовал бы: Шанталь, шагавшая навстречу по тротуару, в последний миг еле успела отскочить в сторону.

Мужчины запапачковались, сказала себе Шанталь. Они давно уже не отцы, а именно папы, то есть отцы, лишенные отцовского авторитета. Она представила себе, как затевает флирт с таким папой, который катит каталку с малышом, а двух других тащит на спине и на пузе; улучив момент, когда его супруга приклеилась к витрине, она шепотом назначает ему свидание. Что бы он стал делать? Может ли этот мужчина, ставший древом, обремененным младенцами, обернуться на зов незнакомки? И не поднимут ли рев малыши, протестуя против неуместного порыва своего носильщика? Эта мыслишка показалась ей забавной и привела ее в хорошее настроение. Я живу в таком мире, сказала она себе, где на меня никогда уже не оглянется ни один мужчина.

Потом она вместе со стайкой других ранних пташек очутилась возле береговой плотины: было время отлива; перед ней на добрый километр простиралась песчаная отмель. Ей давно уже не доводилось бывать на нормандском побережье, она и знать не знала о тамошних модных развлечениях — воздушных змеях и повозках под

парусом. Воздушный змей — это кусок цветной ткани, натянутый на устрашающе жесткий скелет и пущенный по ветру; им можно управлять при помощи двух бечевок, по одной на каждую руку, так, чтобы он поднимался и опускался, кружился волчком, издавал устрашающий звук, похожий на жужжание исполинского слепня, и время от времени зарывался носом в песок, словно потерпевший аварию самолет. Не без удивления она заметила, что змеями забавлялись не дети и подростки, а почти сплошь взрослые. И женщин среди них не было, одни мужчины. Одни папы! Папы без детишек, папы, исхитрившиеся удрать от своих женушек! И они не устремлялись к любовницам, а устремлялись на пляж, поиграть со змеями!

Ей пришла в голову еще одна идейка насчет коварного совращения. А что, если подкрасться сзади к мужчине, держащему в руках бечевки и с запрокинутой головой следящему за шумным полетом своей игрушки, — подкрасться и шепнуть ему на ухо эротический намек, составленный из наипохабнейших словечек? Как он отреагирует? Сомневаться не приходится, он, не оборачиваясь, прошипит: отвяжись, я занят!

Да, мужчины никогда уже больше не оглянутся

на нее.

Она вернулась в гостиницу. На стоянке была припаркована машина Жан-Марка. В конторке ей сообщили, что он приехал примерно полчаса назад. Дежурный протянул ей записку: «Я прибыл чуть раньше. Пошел тебя искать. Ж.-М.».

— Он пошел меня искать, — вздохнула Шанталь. — Но куда?

— Мсье сказал, что вы наверняка отправились на пляж.

## 6

Шагая к побережью, Жан-Марк миновал автобусную остановку. Там не было ни души, кроме какой-то барышни в джинсах и тенниске; без особого воодушевления, но весьма впечатляюще она виляла бедрами, как бы пританцовывая. Очутившись совсем рядом с ней, он заметил ее рот, разинутый в бесконечном ненасытном зевке; эта широко отверстая дыра покачивалась в такт машинально танцевавшему телу. Она танцует, не переставая скучать, сказал себе Жан-Марк. Он добрался до набережной; внизу, на пляже, виднелись мужчины; запрокинув головы, они запускали в небо воздушных змеев. Запускали с таким увлечением, что Жан-Марк поневоле вспомнил свою старую теорию: есть три вида скуки — скука пассивная: барышня, которая танцует, зевая; скука активная: любители воздушных змеев; скука бунтующая: молодежь, поджигающая автомобили и бьющая витрины.

Чуть подальше на пляже развлекались подростки лет двенадцати-четырнадцати в больших разноцветных шлемах, под тяжестью которых пошатывались их небольшие фигурки; они

толпились вокруг каких-то странных машин: крестовина из металлических прутьев с одним колесом спереди и двумя сзади; в середине, в неглубокой продолговатой выемке, можно было вытянуться полулежа; над нею торчала мачта с парусом. Зачем ребятишкам каски? Наверняка этот вид спорта — занятие небезопасное. И все же, сказал себе Жан-Марк, эти штуковины куда опаснее для гуляющих, так почему же им не предлагают каски? Потому что те, кто игнорирует организованные формы досуга, должны считаться дезертирами великой и всеобщей битвы со скукой; не заслуживают они ни внимания, ни каски.

Он сошел по лестнице, ведущей к пляжу, внимательно вгляделся в далекую морскую кромку, стараясь среди крохотных силуэтов разглядеть фигурку Шанталь, и наконец приметил ее: она остановилась, чтобы полюбоваться волнами, парусниками, облаками.

Он прошел мимо ребятишек: инструктор помогал им устроиться на парусных тележках, которые уже начинали медленно катиться по кругу. Другие, чуть поодаль, уже неслись во всю прыть. Только от паруса, управляемого с помощью веревки, зависело направление повозки,

которую можно было при случае повернуть, избегая столкновения с гуляющими. Но способен ли неумелый любитель по-настоящему справиться с парусом? И так ли уж совершенна эта тележка, чтобы покорно подчиняться воле водителя?

Разглядывая эти повозки, Жан-Марк вдруг заметил, что одна из них со скоростью метеора несется по направлению к Шанталь; это заставило его напрячься. На повозке лежал какой-то старик — ни дать ни взять космонавт внутри ракеты. Находясь в таком положении, он не мог видеть ничего, что происходит вокруг. Сумеет ли Шанталь вовремя отскочить в сторону? Жан-Марк чертыхнулся, вспомнив о ее беззаботной натуре, и прибавил шагу.

Теперь она стояла к нему вполоборота.

Она повернула назад, но, судя по всему, не видела его: походка ее была по-прежнему медлительной — походка женщины, погруженной в свои мысли и не смотрящей по сторонам. Ему хотелось крикнуть ей: да не будь ты такой рассеянной, поберегись этих идиотских тележек, снующих по пляжу! Внезапно он представляет себе ее тело, по которому проехалась тележка. Шанталь простерта на песке, вся в крови, парусный драндулет несется дальше, а он со всех ног

мчится к ней. Эта картина так потрясла его, что он и впрямь начинает выкрикивать ее имя, но ветер сильный, пляж необъятный, расслышать его невозможно; сколько ни кричи, как ни рыдай — все это останется чем-то вроде сентиментального театрика. Захлебываясь слезами, он переживает несколько секунд смертного ужаса.

Потом, подивившись этому странному истерическому припадку, снова заметил ее вдалеке: она беззаботно прогуливалась — невозмутимая, спокойная, очаровательная, бесконечно трогательная, и он улыбнулся, вспомнив только что разыгранную им трагикомедию, улыбнулся, даже и не думая ни в чем ее упрекать, ибо смерть Шанталь всегда при нем с тех самых пор, как он ее полюбил; он и в самом деле пустился к ней со всех ног, махая на бегу рукой. Но она снова остановилась, снова засмотрелась на море и далекие парусники, не замечая мужчины, делавшего ей знаки.

Ну наконец-то! Она обернулась в его сторону, вроде бы заметила его; сам не свой от счастья, он еще раз поднял руку. Но она не обратила на него внимания, не двигаясь, следила взглядом за удлиненной полоской моря, ласкающего песок. Теперь она стояла к нему в профиль; то, что он

сначала принял за шиньон, оказалось платком вокруг головы. По мере того как он подходил к ней все ближе и ближе (торопливым, но не таким уж быстрым шагом), эта женщина, которую он принял за Шанталь, превращалась в старуху, безобразную и совершенно чужую.

## 7

Шанталь скоро надоело вглядываться в пляж с набережной и она решила подождать Жан-Марка в номере. И тут на нее навалилась жуткая сонливость. Чтобы не испортить себе удовольствие от встречи, она решила, что ей не мешало бы выпить кофе, да побыстрей. Она свернула в сторону и направилась к громоздкому сооружению из бетона и стекла, в котором размещались ресторан, кафе, игровой зал и несколько торговых киосков.

Вошла в кафе; в уши ударила оглушительная музыка. Скривившись от досады, она двинулась вперед между двумя рядами столиков. В просторном пустующем зале на нее уставились двое мужчин: один, помоложе, в черной форме официанта, облокотился на стойку; другой, постарше, здоровенный детина в тенниске, торчал в глубине зала.

Собираясь присесть, она обратилась к здоровяку:

— Вы не могли бы выключить музыку?

Он двинулся к ней:

— Простите, я не расслышал.

Шанталь взглянула на его лапищи, украшен-

ные наколкой: голая баба со здоровенными грудями, а вокруг нее обвивается змей.

Она повторила чуть настойчивей:

— Я о музыке, сделайте ее потише.

— О музыке? — удивился тот. — Неужели она вам не нравится?

Шанталь заметила, что официант, пройдя за стойку, врубил рок на всю катушку.

Тип с наколкой был теперь совсем рядом. Его ухмылка не сулила ничего хорошего. Она пошла на попятную:

— Нет-нет, я ничего не имею против вашей музыки.

— Я был уверен, что она вам понравится. Что прикажете подать?

— Ничего, — сказала Шанталь. — Я зашла просто взглянуть. У вас тут очень мило.

— Тогда почему бы вам не остаться? — раздался за ее спиной омерзительно слащавый голос молодого человека в черном; он снова переменил место, оказавшись между двумя рядами столиков и загородив единственный проход к двери. Его заискивающий тон вызвал у нее что-то вроде паники. Она почувствовала себя в ловушке, которая того и гляди захлопнется. Нужно действовать, да побыстрее. Путь к отступлению преграждал

молодой человек, с ним не разминуться. Будь что будет, решила она, и двинулась вперед. От слащавой улыбки официанта екнуло сердце. В последний момент он пропустил ее, сделав шаг в сторону.

## 8

Спутать внешнее обличье любимой с внешностью другой женщины! Такое случалось с ним не раз. И всегда его охватывало чувство удивления: неужели разница между нею и другими и впрямь так уж невелика? Как это получается, что он не в состоянии узнать силуэт самого любимого, ни с кем не сравнимого существа?

Он отпирает дверь в номер. Наконец-то она у него перед глазами. На этот раз никакого сомнения нет, это она, только совсем на себя не похожая. Лицо постарело, во взгляде сквозит непонятная злость. Словно бы женщина, которой он махал рукой на пляже, отныне и навсегда заняла место любимой. Словно бы он должен понести наказание за то, что не сумел ее узнать.

— Что с тобой случилось? Что произошло?

— Ровным счетом ничего, — ответила она.

— Как это ничего? Ты сама на себя не похожа.

— Просто я очень плохо спала. Можно сказать, не спала совсем. И утро выдалось скверное.

— Скверное утро? Это еще почему?

— Да нипочему, просто так. Ни из-за чего.

— Расскажи все-таки.

— И рассказывать нечего.

Он продолжает настаивать. В конце концов ей удалось вывернуться:

— На меня больше не оглядываются мужчины.

Он смотрит на нее, не в силах понять, что же такое она говорит, в чем смысл ее слов. Ей грустно оттого, что на нее не оглядываются мужчины? Его так и подмывает спросить: ну а я-то? А я? Я ведь рыскаю за тобой по всему пляжу, зову тебя по имени, захлебываясь от слез, готов по твоим следам обежать всю планету!

Но ничего этого он не говорит. А только медленно и тихо повторяет ее собственные слова:

— На тебя больше не оглядываются мужчины. Неужели от этого у тебя испортилось настроение?

Она краснеет. Краснеет так, как давно не краснела. Эта краска на лице словно бы выдает какие-то постыдные желания. Желания столь неодолимые, что Шанталь не может удержаться и повторяет:

— Да, все дело в мужчинах: они больше не оглядываются на меня.

## 9

Когда Жан-Марк показался в дверях номера, ей от всей души хотелось напустить на себя бодрый вид; она была бы рада броситься ему на шею, но не могла; после происшествия в кафе нервы у нее были натянуты до предела, все вызывало раздражение; она до такой степени погрузилась в свои мрачные мысли, что боялась, как бы ее нежный порыв не показался принужденным и вымученным.

Потом Жан-Марк спросил у нее, что же произошло. Она сказала, что плохо спала, что чувствует себя усталой, но убедить его ей не удалось, и он продолжал гнуть свое; не зная, как ускользнуть от этой любовной инквизиции, она решила выдать ему что-нибудь позабавнее; тогда-то ей на ум и пришла ее утренняя прогулка, встреча с мужчинами, превращенными в детоносные деревья, а в голове всплыла пустяковая полузабытая фраза: «На меня больше не оглядываются мужчины». Она прибегла к ней, чтобы избежать сколько-нибудь серьезного разговора; постаралась обронить ее как можно легкомысленней, но, как ни удивительно, голос ее оказался горьким

и меланхоличным. Она ощущала, что эта меланхолия словно прилепилась к ее лицу, и тут же сообразила, что будет неверно понята.

Он впивался в нее неотрывным сосредоточенным взглядом, и ее не покидало чувство, что этот взгляд раздувает в глубине ее существа какое-то подспудное пламя. Это пламя выжигало ей нутро, пробиралось в грудь, опаляло щеки, она услышала, как Жан-Марк повторил вслед за ней: «На тебя больше не оглядываются мужчины. Неужели от этого у тебя испортилось настроение?»

Она чувствовала, что пылает как головешка и что по ней ручьями струится пот; она сознавала, что эти красные пятна на лице придают ее пустяковой фразе непомерную значительность; ему должно было казаться, что этими словами (такими, в сущности, безобидными) она выдала себя, выставила напоказ какие-то свои тайные склонности, что заставило ее зардеться от стыда; чистое недоразумение, да и только, но она оказалась не в силах его объяснить, потому что такие вспышки румянца одолевали ее не в первый раз; прежде она не признавалась даже самой себе в их истинной причине, но теперь уже не приходилось сомневаться в том, что они означают, и именно поэтому она не хотела, не могла о них

говорить.

Приступ жара оказался затяжным и, в довершение всех мучений, происходил на глазах у Жан-Марка; она уж и не знала, что ей делать, куда деваться, как укрыться от этого пронизывающего взгляда. Смущенная до крайности, она повторила ту же фразу в надежде, что ей удастся поправить все то, что не удалось в первый раз, что она сумеет произнести ее как бы в шутку, для потехи, для забавы: «Да, все дело в мужчинах — не оглядываются на меня, и все тут». Но ничего не вышло, фраза прозвучала еще меланхоличнее, чем раньше.

В глазах Жан-Марка внезапно вспыхнул знакомый огонек, фонарик спасателя: «А я? А я? Как ты можешь думать о мужчинах, которые на тебя не оборачиваются, когда я готов бежать за тобой хоть на край света?»

Она почувствовала себя спасенной: ведь голос Жан-Марка — это голос самой любви, голос, о существовании которого она позабыла в миг замешательства, голос любви, исполненный ласки и заботы; вот только жаль, что сейчас она еще не готова его слышать; он доносится как бы издалека, из непомерного далека; чтобы довериться ему, нужно еще вслушиваться да вслушиваться.

Потому-то она словно одеревенела, когда он хотел стиснуть ее в объятиях; она боялась прижаться к нему, боялась, как бы ее покрытое испариной тело не выдало тайну. Миг был слишком краток, она не успела справиться с собой, сдержать свой жест и оттолкнула его застенчиво, но решительно.

## 10

Да была ли она на самом деле, эта неловкая встреча, лишившая их способности к объятиям? Сохранились ли в памяти Шанталь эти краткие миги непонимания? Помнит ли она о своей фразе, переполошившей Жан-Марка? Все это как ветром сдуло. Эпизод забылся, подобно тысячам других. Часа через два они уже обедали в гостиничном ресторане, весело болтая о смерти. О смерти? Начальник Шанталь попросил ее подумать о рекламной кампании в пользу похоронного бюро Люсьена Дюваля.

— И не над чем тут смеяться, — сказала она смеясь.

— А они-то смеются? Твои сослуживцы. Неужели им не кажется потешной мысль устроить рекламу для смерти? И твой начальник, этот старый троцкист! Ты всегда говоришь, что ума у него хоть отбавляй.

— Ума у него хоть отбавляй. Он логичен, как хирургический скальпель. Съел собаку на Марксе, психоанализе и модернистской поэзии. Любит рассказывать, что в литературе двадцатых годов, в Германии или где-то там еще, было поэтическое

течение, воспевавшее повседневность. Реклама, по его мнению, задним числом реализовывает эту поэтическую программу. Претворяет простейшие житейские факты в подлинную поэзию. Благодаря ей обыденность обрела голос, научилась воспевать себя.

— И что умного ты видишь в таких банальностях?

— Тон циничного вызова, которым он их произносит.

— Он смеется или напускает на себя серьезный вид, говоря тебе о рекламе для смерти?

— Улыбка, способная держать вас на почтительном расстоянии, всегда придает начальству известную элегантность, и чем большей властью оно обладает, тем более обязано выглядеть элегантно. Но его отстраненная улыбка не имеет ничего общего со смехом таких людей, как ты. Мой начальник очень чувствителен к подобным тонкостям.

— Тогда как же он выносит твой смех?

— Странный вопрос, Жан-Марк: при нем я никогда не смеюсь. Не забывай, я существо двуликое. Я научилась извлекать из этого кое-какие удовольствия, но поверь, что иметь два лица не так-то просто. Тут нужны постоянные усилия,

постоянная самодисциплина. Ты пойми: все, что мне приходится делать, я в той или иной степени стараюсь делать как следует. Хотя бы ради того, чтобы не лишиться своей должности. А ведь это очень трудно — работать как следует и в то же время ни в грош не ставить свою работу.

— О, это ты можешь, на это ты способна, в этом ты просто гениальна.

— Да, иметь два лица я могу, только не в одно и то же время. Когда я с тобой, я нацепляю на себя насмешливую личину, когда в конторе — личину серьезную. Я принимаю заявления и документы от людей, которые желают устроиться к нам на работу. Я должна либо порекомендовать их, либо дать им от ворот поворот. Среди них встречаются и такие, кто, судя по заявлениям, выражается на супермодерновом языке со всеми его штампами, жаргонными оборотами и со всем его непременным оптимизмом. Никаких личных встреч и бесед в таких случаях не требуется — я ненавижу их заочно. Но понимаю, что именно они будут хорошо работать, как говорится, из кожи лезть вон. Попадаются и те, что в другие времена наверняка посвятили бы себя философии, истории искусства или преподаванию французского, но сегодня, за неимением лучшего, ищут место у

нас. Я знаю, что втайне они это место презирают, и, следовательно, могу считать их своими собратьями. А мне приходится принимать решение.

— И как же ты его принимаешь?

— Иной раз рекомендую того, кто мне симпатичен, а иной раз того, кто будет хорошо работать. Действую и как предательница по отношению к своей конторе, и как предательница по отношению к самой себе. Я предательница вдвойне. И на свои двойные предательства смотрю не как на слабину, а как на подвиг. Ведь никто не знает, долго ли еще я смогу сохранять оба своих лица. Такое двойничество кого хочешь вымотает. Рано или поздно придет день, когда я останусь всего с одним лицом. Наихудшим из обоих, тут сомневаться не приходится. Серьезным. Соглашательским. Другое дело, будешь ли ты тогда меня любить?

— Ты никогда не расстанешься с обоими своими лицами, — заверил ее Жан-Марк.

Она улыбнулась и подняла бокал:

— Будем надеяться!

Они чокнулись, выпили, а потом Жан-Марк сказал:

— Впрочем, я тебе почти завидую в смысле этой рекламы смерти. Не знаю почему, но я с малых

лет был буквально очарован стихами о смерти. Многое множество знал наизусть. Хочешь, кое-что процитирую? Может, тебе и пригодится. Ну, например, вот эти строки из Бодлера, ты просто не можешь их не знать:

> *Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!*
>
> *Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!*[3]

— Знаю, знаю, — прервала его Шанталь. — Стихи прекрасны, но они не для нас.

— Как это не для вас? Ведь твой старый троцкист любит поэзию. Разве может умирающий найти для себя лучшее утешение, чем эти слова: «Нам скучен этот край»? Я представляю, как они полыхают неоном над вратами любого кладбища. Их только следует чуть-чуть переиначить в целях рекламы: «Нам скучен этот край! Люсьен Дюваль, старый капитан, ставь ветрило!»

— В мои обязанности не входит задача подлизываться к умирающим. Они сами должны домогаться услуг Люсьена Дюваля. А живые, по-

---

**[3] Примечания: 3**
Перевод Марины Цветаевой.

гребающие своих мертвецов,[4] хотят радоваться жизни, а не превозносить смерть. Наша религия, запомни раз и навсегда, — это гимн жизни. Слово «жизнь» — король среди всех слов. Слово-король, окруженное другими великими словами. Словом «приключение»! Словом «будущее»! И словом «надежда»! Ты знаешь, кстати, секретное имя атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму? *Little boy!* Тот, кто его придумал, был не иначе как гением! Лучше не назовешь. *Little boy,* маленький мальчик, мальчуган, мальчонка — нет слова более нежного, более трогательного, более преисполненного будущим.

— Да, знаю, — сказал очарованный Жан-Марк. — Это жизнь собственной персоной парила над Хиросимой в обличье маленького мальчика, поливая развалины золотой мочой надежды. Этим таинством и была открыта послевоенная эпоха. — Он поднял свой бокал: — Так выпьем же!

---

**[4] Примечания: 4**

Намек на евангельскую формулу: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Евангелие от Матфея, 8, 22).

## 11

Ее сыну было пять лет, когда она его похоронила. Позже, во время отпуска, золовка сказала ей: «Да не убивайся ты. Лучше заведи другого ребенка. Только так тебе удастся забыть о первом». Слова золовки полоснули ей по сердцу. Ребенок — существо без биографии. Тень, которая тотчас исчезает при появлении его преемника. Но она вовсе не желала забыть свое дитя. Она изо всех сил защищала его незаменимую личность. Она защищала прошлое от будущего, никому не нужное и убогое прошлое бедного маленького покойника. Еще через неделю к ней обратился муж: «Я совсем не хочу, чтобы ты скончалась от скорби. Нам нужно поскорее завести другого ребенка. И ты забудешь о первом». Ты забудешь: ему даже не пришлось искать другую формулировку! Вот тогда-то и зародилось в ней решение разойтись с ним.

Ей было ясно, что ее муж, человек, привыкший идти на поводу у других, говорил не от собственного имени, а от лица всей своей большой семьи со всеми ее общими интересами, семьи, которой верховодила его сестра. Она жила тогда со своим

третьим мужем и двумя детьми от предыдущих браков; она исхитрилась остаться в хороших отношениях со своими прежними мужьями и даже приглашала их к себе вкупе с семьями своих братьев и двоюродных сестер. Эти огромные сборища происходили у нее на даче в пору отпусков; она попыталась втянуть Шанталь в ту же среду, чтобы та мало-помалу, незаметно стала еще одним членом ее племени.

Именно там, на этой роскошной даче, золовка, а вслед за ней и муж стали уговаривать ее завести другого ребенка. Именно там, в крохотной спаленке, она отвергла интимные домогательства своего супруга. Каждый из его эротических намеков напоминал ей о семейной кампании в пользу ее новой беременности, так что сама мысль о том, чтобы заняться с ним любовью, показалась ей смехотворной. Она не могла отделаться от впечатления, что все члены этого племени — бабушки, папочки, племянники, племянницы, кузины всем скопом подслушивали их под дверью, тайком ворошили простыни на их постели, старались поутру углядеть признаки усталости на их лицах. Каждый считал себя вправе заглядывать ей прямо в лоно. Даже малолетние племянники были завербованы в

эту армию в качестве наемников. Один из них спросил у нее: «Шанталь, отчего ты не любишь детей?» — «Откуда ты взял, что я их не люблю?» — ответила она резко и холодно. Он не нашелся, что ответить. «Кто тебе сказал, что я не люблю детей?» — осведомилась она с нескрываемым раздражением. И маленький племянник, сникнув под ее суровым взглядом, пробормотал робким, но убежденным тоном: «Если бы ты их любила, то давно заимела бы».

Вернувшись из отпуска, она приступила к решительным действиям: прежде всего ей нужно было устроиться на работу. До рождения сына она преподавала в лицее. Платили там сущие гроши, поэтому она не рвалась туда обратно и устроилась на должность, которая была ей не по душе (преподавать она любила), но оплачивалась втрое выше. Ее мучила совесть, она понимала, что поступается своими вкусами ради денег, но делать было нечего: только так она могла снова обрести независимость. Но чтобы в самом деле ее обрести, одних только денег было мало. Ей был нужен еще и мужчина, живой символ иной жизни, потому что, с каким бы неистовством она ни стремилась разделаться с жизнью предыдущей, никакая другая была недоступна ее

воображению.

Ей пришлось ждать несколько лет, пока она не встретилась с Жан-Марком. А еще через полмесяца потребовала развод у мужа, раскрывшего глаза от изумления. Вот тогда-то золовка, в приступе восхищения пополам с враждебностью, нарекла ее Тигрицей: «Ты сидишь не шелохнувшись, никто и не подозревает, что у тебя на уме, и вдруг раз — и смертельный прыжок». Три месяца спустя Шанталь купила квартиру и устроилась там со своим любимым, раз и навсегда выкинув из головы даже мысль о законном браке.

## 12

Жан-Марку приснился сон: он тревожится за Шанталь, ищет ее, бегает по улицам и наконец видит ее со спины, она уходит все дальше и дальше. Он бросается за ней, зовет ее по имени. До нее остается всего несколько шагов, она поворачивает голову, и окаменевший от ужаса Жан-Марк видит перед собой совсем другое лицо, лицо чужое и неприятное. Однако это не какая-нибудь незнакомка, это Шанталь, его Шанталь, сомнений тут быть не может, но Шанталь с незнакомым лицом, и это ужасно, нет сил вынести такой ужас. Он обнимает ее, прижимает к себе, повторяет, захлебываясь от рыданий: «Шанталь, маленькая моя Шанталь!», словно хочет, твердя эти слова, вернуть ее изменившемуся лицу прежние черты, прежнюю утраченную подлинность.

От этого кошмара он и проснулся. Шанталь уже не было с ним рядом, из ванной доносились обычные утренние звуки. Еще не совсем вырвавшись из-под власти сна, он почувствовал неодолимое желание увидеть ее немедля. Поднялся, подошел к полуоткрытой двери. Замер возле нее, словно соглядатай, охочий до интимных сцен, заглянул

вовнутрь; да, это была его Шанталь, точь-в-точь такая же, как и всегда: склонившись над раковиной, она чистила зубы, сплевывая смешанную с пастой слюну, и была так потешно, так по-детски поглощена этим занятием, что Жан-Марк не мог удержаться от улыбки. Потом, словно почувствовав на себе его взгляд, она обернулась, увидела его в дверях, недовольно поморщилась, но в конце концов позволила себя поцеловать прямо в белые от пасты губы.

— Ты заедешь вечером за мной в агентство? — спросила она.

Часов около шести он вошел в вестибюль, проследовал по коридору и остановился у двери в ее кабинет. Она была полуоткрыта, как дверь в ванную этим утром. Он увидел Шанталь вместе с двумя женщинами, ее сослуживицами. Но она была совсем не такой, как утром: непривычно громкий голос, стремительная, резкая, властная жестикуляция. Утром в ванной комнате он вновь обрел существо, чуть было не потерянное ночью, а теперь, в этот предвечерний час, оно изменялось к худшему прямо у него на глазах.

Он вошел. Она улыбнулась ему. Но улыбка была застывшей, а сама Шанталь — какой-то одеревеневшей. Вот уже лет двадцать, как поцелуй в обе

щеки стал во Франции условностью почти обязательной и потому тягостной для любящих. Но как ее избежишь, чувствуя на себе посторонние взгляды и не желая выглядеть человеком, рассорившимся с любимой? Шанталь шагнула к нему, подставила обе щеки. Поцелуй показался искусственным, отдающим фальшью. Они вышли из конторы, но понадобилось немалое время, чтобы Шанталь вновь стала для него той же, которую он так хорошо знал.

Впрочем, так оно всегда и было: между моментом встречи и тем мгновением, когда он узнавал в ней свою любимую, пролегало немалое расстояние. Во время их знакомства — оно произошло в горах — ему неожиданно повезло: он смог почти сразу же остаться наедине с нею. Сумел ли бы он угадать в ней свою любовь, если бы до этой первой встречи с глазу на глаз ему доводилось частенько видеть ее такой, какой она бывает с другими? Могло ли это лицо взволновать и очаровать его, будь ему ведомо то ее обличье, в котором она предстает перед своими сослуживцами, начальниками и подчиненными? Ответа на эти вопросы у него не было.

## 13

Может статься, что именно по причине его гиперчувствительности в такие странные миги фраза «на меня больше не оглядываются мужчины» столь сильно врезалась в его сознание; произнося ее, Шанталь выглядела неузнаваемой. Эта фраза была совсем на нее не похожа. Так же, как и лицо, словно бы озлобившееся, словно бы постаревшее. Первой его реакцией была вспышка ревности: как это ее может трогать невнимание посторонних, если он сам, не далее как сегодняшним утром, был готов упасть бездыханным там на пляже, лишь бы поскорее очутиться рядом с ней? Но не прошло и часа, как он стал думать иначе: каждая женщина определяет степень своей убывающей привлекательности по тому интересу или равнодушию, которые проявляют к ее телу мужчины. Не смешно ли обижаться на это? И однако, даже не чувствуя себя обиженным, он не мог с нею согласиться. Ибо легкие следы старения (она была на четыре года старше его) он приметил на ее лице уже в день их первой встречи. Ее красота, так поразившая его тогда, нисколько ее не молодила; скорее можно было бы

сказать, что годы придавали этой красоте особую выразительность.

Фраза Шанталь все не шла у него из головы, и он принялся сочинять воображаемую историю ее тела: оно было затеряно среди миллионов других тел вплоть до того дня, когда на нем остановился чей-то страстный взгляд и выхватил его из расплывчатого множества; потом взглядов становится все больше, они воспламеняют это тело, несущееся отныне по миру подобно пылающему факелу; для него наступает пора светоносной славы, но вскоре взглядов становится все меньше, свет мало-помалу начинает угасать — и так вплоть до того дня, когда это тело, полупрозрачное, призрачное, а потом и вовсе незримое, начинает бродить по улицам в виде крохотного бездомного небытия. И посреди этого пути, ведущего от первой незримости ко второй, мерцает фраза «на меня больше не оглядываются мужчины», мерцает, словно красная сигнальная лампочка, извещающая о том, что неуклонное угасание тела уже началось.

Сколько бы он ни твердил ей о том, как он ее любит и какой красивой она ему кажется, его влюбленный взгляд все равно не мог бы ее утешить. Потому что взгляд любви — это взгляд,

говорящий об одиночестве. Жан-Марк думал о любви-одиночестве двух состарившихся существ, ставших невидимками для других: печальное одиночество, прообраз смерти. Нет, она нуждается не во взгляде любви, а в множестве взглядов чужих, грубых, похотливых, таких, что останавливались бы на ней без намека на симпатию, избирательность, нежность или хотя бы вежливость — фатально и неотвратимо. Такие взгляды удерживали бы ее в людском обществе. Взгляд любви разлучает ее с ним.

С горечью он вспоминал о головокружительно быстром начале их любви. Ему не пришлось ее завоевывать: она была завоевана в первый же миг. Оборачиваться на нее? С какой стати. Она с самого начала была с ним, подле него, напротив него. С самого начала он взял на себя роль сильного, а она — роль слабой. И это неравенство легло в основу их любви. Неравенство ничем не оправдываемое, единственное в своем роде. Она оказалась слабее, потому что была старше.

## 14

Когда ей было лет шестнадцать-семнадцать, она обожала одну метафору; придумала ли ее она сама, услышала ли где-то, вычитала? Все это не важно: ей хотелось быть запахом розы, запахом всепроникающим и неотразимым; ей хотелось розовым ароматом войти во всех на свете мужчин и их руками обнять всю землю. Всепроникающий аромат розы: метафора приключения. Эта метафора звучала на пороге ее зрелости как романтическое обещание сладкого беспутства, как приглашение к путешествию от мужчины к мужчине. Но поскольку она не была рождена для того, чтобы менять любовников, эта лирическая и смутная мечта быстро увяла после замужества, которое обещало быть спокойным и счастливым.

Много позже, когда она рассталась с первым мужем и уже который год жила с Жан-Марком, им довелось как-то оказаться на морском побережье: они обедали на дощатой террасе над самой водой; от всего этого у нее сохранилось ярчайшее впечатление белизны; доски, столы, стулья, скатерти — все было белым, стекла фонарей на

набережной были выкрашены в белую краску, белый свет из лампочек струился в еще не померкшее летнее небо, где луна, тоже совершенно белая, так и выбеливала все вокруг. Но вот что странно: купаясь в этой белизне, она мучилась от невыносимой тоски по Жан-Марку.

Тоски? Какая еще тоска могла ее томить, если он сидел тут же, напротив? Как можно страдать от отсутствия того, кто присутствует? (Жан-Марк мог бы ответить: страдать от тоски по любимому в его присутствии можно в том случае, если тебе дано провидеть будущее, в котором его не будет; если его смерть, хоть и незримо, уже начинает мерещиться тебе.)

В те минуты странной тоски, охватившей ее на морском побережье, она внезапно вспомнила о своем покойном сынишке — и ее захлестнула волна счастья. В следующее мгновенье, вероятно, она ужаснулась этому чувству. Но с чувствами никто из нас сладить не в силах, они возникают сами собой и не поддаются никакому контролю. Позволительно раскаяться в каком-то поступке, в каких-то словах, но раскаиваться в каком-то чувстве невозможно просто потому, что мы не властны над ним. Воспоминание о мертвом ребенке исполнило ее счастья, и она могла только

задаваться вопросом, что бы оно могло значить. Ответ был ясен: это означало, что ее присутствие здесь, рядом с Жан-Марком, было абсолютным и что оно могло быть абсолютным лишь благодаря отсутствию ее сына. Она чувствовала себя счастливой оттого, что ее ребенок мертв. Сидя напротив Жан-Марка, она хотела вслух сказать ему об этом, но не осмелилась. Она не была уверена в его реакции, боялась, что покажется ему каким-то чудовищем.

Она наслаждалась полным отсутствием приключений. Приключение: удобный случай обнять весь мир. А ей не хотелось больше обнимать весь мир. Она уже не жаждала всего мира.

Она наслаждалась счастьем жить без приключений и без жажды приключений. Она вспомнила о своей девичьей метафоре и увидела розу, которая увядала — стремительно, словно на ускоренной киноленте, увядала до тех пор, пока от нее не остался один тонкий почерневший стебель, окончательно растворявшийся в белой вечерней вселенной: розу поглотила белизна.

В тот же вечер, почти на грани сна (Жан-Марк уже спал), она еще раз вспомнила о своем мертвом ребенке,и воспоминание это снова повлекло за собой соблазнительный наплыв счастья. И то-

гда она сказала себе, что ее любовь к Жан-Марку — это настоящая ересь, нарушение неписаных законов человеческого сообщества, от которого она все больше и больше отдалялась; она сказала себе, что должна держать в тайне всю непомерность своей любви, чтобы не возбуждать в других завистливого негодования.

## 15

Утром она всегда выходила из дому первой и открывала почтовый ящик, оставляя в нем письма, адресованные Жан-Марку, и забирая свои. В то утро она обнаружила два письма: одно на имя Жан-Марка (она взглянула на него мельком: штамп был брюссельский), второе — на ее имя, но без адреса и без марки. Кто-то опустил его в ящик сам. Второпях она сунула его в сумочку, не распечатав, и бросилась к автобусу. Устроившись на сиденье, разорвала конверт; письмо состояло всего из одной строчки: «Я хожу за Вами по пятам, Вы красивая, очень красивая».

Первое впечатление было неприятным. Какому-то типу, безо всякого разрешения, вздумалось вторгнуться в ее жизнь, обратить на себя ее внимание (ее способность проявлять к кому-то внимание была заторможенной, и недоставало энергии, чтобы эту способность развить), короче говоря, пристать к ней как банный лист. Какой женщине не доводилось получать подобные послания? Она перечла письмо и сообразила, что сидящая рядом с нею дама тоже могла его прочесть. Убрала его в сумочку и осмотрелась

вокруг. Пассажиры сидели, рассеянно глядя в окна, две девушки нарочито громко смеялись, молодой негр, стоявший у дверей, высокий и привлекательный, косился в ее сторону, какая-то женщина уткнулась в книжку — ей, наверное, было далеко ехать.

Сидя в автобусе, она обычно не обращала внимания на окружающих. Теперь же ей казалось, что все оглядывают ее, да и сама она оглядывала всех — уж не письмо ли было тому причиной? Неужели среди пассажиров всегда находятся такие, как этот негр, не сводящий с нее глаз? Она одарила его улыбкой, словно он знал то, что она только что прочла. А не он ли сочинил это послание? Тут же отогнав от себя эту дурацкую мысль, она поднялась, чтобы выйти на следующей остановке. Ей нужно было пройти мимо чернокожего, загородившего проход к дверям, и это смутило ее. Когда она оказалась почти рядом с ним, автобус резко затормозил, ее качнуло, негр, по-прежнему пялившийся на нее, прыснул со смеху. Выйдя из автобуса, она подумала: нет, это не флирт, это просто насмешка, зубоскальство. Этот ехидный смех целый день не смолкал у нее в ушах, звуча как дурное предзнаменование. В конторе она еще раза два-три заглянула в письмо, а вернувшись

домой, стала раздумывать, что же с ним делать. Показать Жан-Марку? Это было бы слишком бестактно: еще подумает, что она перед ним хвастается! Уничтожить? Само собой. Она пошла в туалет и, склонившись над унитазом, заглянула в его влажную горловину; порвала конверт в клочья, выкинула их, спустила воду, а письмо сложила и отнесла к себе в спальню. Открыла бельевой шкаф, сунула его под стопку лифчиков. Тут до нее снова донесся ехидный смех чернокожего, и она сказала себе, что ничем не отличается от других женщин; лифчики сразу показались ей какими-то вульгарными и бабскими.

## 16

Примерно через час, вернувшись домой, Жан-Марк показал Шанталь письмо с уведомлением: «Я его достал утром из ящика. Ф. скончался».

Шанталь была почти довольна тем, что это письмо, куда более серьезное, чем то, обращенное к ней, как бы перечеркнуло всю смехотворность первого. Она взяла Жан-Марка под руку, прошла с ним в гостиную, уселась напротив:

— Как ни говори, оно потрясло тебя.

— Нет, — сказал Жан-Марк, — или, вернее, я потрясен тем, что не испытал никакого потрясения.

— Значит, ты его даже теперь не простил?

— Я простил ему все. Но дело не в этом. Помнится, я тебе говорил о странном чувстве радости, которое я испытал, когда в свое время решил с ним больше не встречаться. Я был холоден как сосулька — и радовался этому. Так вот, его кончина никак не повлияла на это чувство.

— Ты меня пугаешь. Ты меня правда пугаешь.

Жан-Марк встал, принес бутылку коньяка и две рюмки. И продолжал, отхлебнув глоток:

— Под конец нашей встречи в больнице он

начал пересказывать мне свои воспоминания. Напомнил о том, что я будто бы говорил ему, когда мне было шестнадцать лет. И тут я понял, в чем состоит единственный смысл дружбы — такой, как она понимается в наши дни. Дружба необходима человеку для того, чтобы у него как следует работала память. Помнить о своем прошлом, вечно хранить его в душе — таково необходимое условие, позволяющее нам, как говорится, сберечь цельность нашего «я». Чтобы это «я» не съеживалось, не утрачивало своей полноты, его нужно орошать воспоминаниями, как горшок с цветами, а такая поливка невозможна без постоянного общения со свидетелями прошлого, то есть с друзьями. Они — наше зеркало, наша память; от них требуется лишь одно — хотя бы время от времени протирать это зеркало, чтобы мы могли в него смотреться. Но мне наплевать на то, что я делал в лицее! Со времен моей юности, а может быть, и со времени детства я жаждал совсем другого: дружбы как наивысшей ценности, не сравнимой со всеми остальными. Я повторял себе: если мне придется выбирать между истиной и другом, я выберу друга. Я говорил это не для бравады, я и в самом деле так думал. Теперь я понимаю, что эта формула выглядит устаревшей.

Она годилась для Ахилла, друга Патрокла, для мушкетеров Александра Дюма, даже для Санчо Пансы и его хозяина, несмотря на все их перепалки. А для нас она — пустой звук. Я так погряз в своем теперешнем пессимизме, что уже готов предпочесть истину дружбе.

Он отпил второй глоток:

— Дружба была для меня доказательством того, что на свете существует нечто более могущественное, чем идеология, религия или нация. Четверо друзей из романа Дюма нередко оказываются в противоположных лагерях, им приходится сражаться друг с другом. Но это никак не отражается на их дружбе, они не отрекаются от взаимопомощи, осуществляя ее тайком, с хитрецой, посмеиваясь над разноречивыми истинами своих лагерей. Они поставили свою дружбу выше истины, правоты, приказа, выше короля, выше королевы, выше всего на свете.

Шанталь погладила руку Жан-Марку, и после паузы он добавил:

— Дюма написал свою истории о мушкетерах с отступом в прошлое на два столетия. Неужели и он уже тосковал об утраченной вселенной, имя которой — дружба? Или исчезновение дружбы — это феномен совсем недавний?

— Я не в силах тебе ответить. Дружба — это проблема, не касающаяся женщин.

— Что ты этим хочешь сказать?

— То, что говорю. Дружба — это мужская проблема. Мужская разновидность романтики. Не наша.

Хлебнув коньяку, Жан-Марк вернулся к своим идеям:

— Как зародилась дружба? Наверное, как союз против любых напастей, союз, без которого мужчина оказался бы безоружным лицом к лицу с неприятелями. Быть может, теперь ему уже нет жизненной необходимости в таком союзе.

— Неприятели всегда найдутся.

— Да, но теперь они незримы и анонимны. Это власти, законы. Чем тебе поможет самый лучший друг, если у тебя под окнами решат строить аэродром или когда тебя увольняют с работы? Вступиться в твою защиту может лишь нечто анонимное и незримое, организация социальной помощи, например, или ассоциация по защите прав потребителей, или коллегия адвокатов. Дружба теперь не подвергается никаким испытаниям. У нас нет больше возможности вынести раненого друга с поля битвы или обнажить шпагу, чтобы защитить его от бандитов. Мы бредем

по жизни, не подвергаясь серьезным опасностям, но и не зная о том, что такое дружба.

— Будь этот так, ты должен был бы помириться с Ф.

— Охотно допускаю, что он не понял бы моих упреков, вздумай я их ему выкладывать. Когда на меня набросились другие, он набрал в рот воды. Но буду справедливым: он рассматривал свое молчание как проявление мужества. Мне говорили, будто бы он даже хвастался тем, что нашел в себе силы не поддаться царившему в зале психозу и не проронил ни слова, которое могло бы мне навредить. Стало быть, он считал, что совесть у него чиста, и потому должен был почувствовать себя уязвленным, когда я ни с того ни с сего порвал с ним. Я был не прав, обидевшись на него сильнее, чем того заслуживала его нейтральная позиция. Если бы он решился выступить в мою защиту среди этих озлобленных и недобрых людишек, ему самому грозили бы опала, конфликты, неприятности. Разве я мог требовать от него такого шага? Тем более что он был моим другом! С моей стороны это было бы совсем не по-дружески. Скажу по-другому: это было бы просто невежливо. Ибо дружба, лишенная своей прежней сути, превратилась теперь в некий дого-

вор, предусматривающий взаимное соблюдение приличий, короче, в обязательство вежливости. А разве можно назвать вежливой обращенную к другу просьбу, которая могла бы как-то ущемить его, доставить ему неприятность?

— Ну конечно, так оно и есть. Только не мог бы ты говорить обо всем этом без горечи? И без иронии.

— Я и говорю без иронии. Так оно и есть.

— Если ты сталкиваешься с ненавистью, если на тебя валят вину за все, если тебя бросают на съедение зверью, ты можешь ожидать со стороны своих знакомых двойственной реакции: одни присоединятся к терзающей тебя своре, другие же сделают вид, будто ничего не видели и ни о чем не слышали, так что ты сможешь продолжать с ними общаться. К этой второй категории — сдержанной, деликатной — и принадлежат твои друзья. Друзья в теперешнем смысле слова. Послушай, Жан-Марк, все это известно мне давным-давно.

## 17

На экране виден чей-то зад в горизонтальном положении — соблазнительный, пикантный, поданный крупным планом. Его нежно ласкает чья-то рука, упиваясь прелестями этой нагой плоти, покорной, податливой. Потом камера отъезжает — и мы видим это тело целиком, оно лежит на маленькой кроватке: это младенец, над которым склонилась мать. В следующем эпизоде она берет его на руки, ее чуть приоткрытые губы припадают к нежному, влажному, широко открытому ротику ребенка. Тут камера снова приближается — и тот же самый поцелуй, показанный отдельно, крупным планом, внезапно превращается в страстное любовное лобзание.

Леруа прерывает показ:

— Мы всегда гонимся за большинством. Совсем как кандидаты на пост президента Соединенных Штатов во время предвыборной кампании. Мы заключаем нашу продукцию в магический круг образов, способных привлечь наибольшее количество покупателей. Занимаясь поисками таких образов, мы склонны переоценивать значение сексуальности. Я хочу предостеречь вас от подоб-

ной переоценки. Ведь только незначительное меньшинство людей и впрямь наслаждается сексуальной жизнью.

Леруа делает паузу, упиваясь удивлением небольшого собрания сотрудников, которых он раз в неделю приглашает на семинар, посвященный очередной рекламной кампании, программе, афише. Они давно уже знают, что их начальнику больше всего льстит не их поспешное одобрение, а их удивление. Именно поэтому одна изысканная дама не первой молодости с множеством перстней на костлявых пальцах дерзает ему противоречить:

— Все опросы общественного мнения свидетельствуют об обратном!

— Ну разумеется, — отозвался Леруа. — Если кто-нибудь, дорогая моя, вздумает опрашивать вас на предмет вашей сексуальности, разве вы скажете ему правду? Даже если человек, задающий вам этот вопрос, не знает вашего имени, даже если он обращается к вам по телефону и не может видеть вашего лица, вы все равно соврете: «Любите ли вы трахаться?» — «Да, еще как!» — «И по скольку раз в день?» — «Раз по шесть!» — «Любите ли вы извращения?» — «Безумно!» Но все это — сплошная показуха. С коммерческой точки

зрения эротика — штука двусмысленная, ибо если все на свете вожделеют эротической жизни, то они же и ненавидят ее по причине сопровождающих ее напастей, обманов, неисполнимых желаний, комплексов и прочих неприятностей.

Он снова прокрутил перед участниками семинара тот же эпизод телефильма: Шанталь смотрела на поданные крупным планом влажные губы, приникающие к другим влажным губам, отдавая себе отчет (впервые в жизни столь определенный и ясный), что она с Жан-Марком никогда вот так не целовалась. Это ее даже удивило: неужели и впрямь никогда?

Нет. Было такое — тогда они еще не знали друг друга по имени, Сидели в просторном зале горной гостиницы среди пьющих и болтающих клиентов, обменивались какими-то банальными репликами, но тон их беседы свидетельствовал о том, что они страстно желают друг друга, и тут они выскользнули в пустынный коридор и, ни слова больше не говоря, принялись целоваться. Она открыла рот и сунула язык в рот Жан-Марка, чтобы вылизать все, что окажется там внутри. Прыть, проявленная их языками, была не чувственной необходимостью, а способом поскорее сообщить другому, что оба они готовы любить,

немедля, по-настоящему, изо всех сил, не теряя времени. Их слюна не имела никакого отношения к желанию или наслаждению, она заменяла им посредницу. У них не хватало духу открыто и вслух признаться: «Я хочу тебя, прямо сейчас, не мешкая», и они передоверяли своей слюне говорить от их имени. Вот почему во время их первого соития (последовавшего через несколько часов после первого поцелуя) их губы, кажется (эта подробность уже забылась, но сейчас, по прошествии стольких лет, она почти уверена в ее подлинности), уже не обращали друг на дружку никакого внимания, не соприкасались, не облизывались и даже не отдавали себе отчета о причине этого непростительного взаимного охлаждения.

Леруа снова прервал просмотр эпизода:

— Вся штука в том, чтобы найти образы, которые поддерживали бы эротическое влечение, не обостряя неудовлетворенности. Именно с этой точки зрения нас интересует данный эпизод: чувственное воображение пробуждено, однако тут же переведено в сферу материнства. Ибо интимный телесный контакт, полная и взаимная откровенность, слияние слюны — все это нельзя считать исключительным достоянием эротизма

для взрослых, все это присутствует и в отношениях между матерью и ребенком, в тех отношениях, которые можно считать первозданным раем всех радостей земных. Кстати, известно ли вам, что удалось заснять на пленку жизнь человеческого плода в материнской утробе? Так вот, находясь в акробатическом положении, которое нам с вами не под силу повторить, этот плод ухитрялся играть со своим собственным крохотным членником. Отсюда следует, что сексуальность не является исключительным достоянием юных и прекрасно сложенных тел, возбуждающих у нас с вами горькую зависть. Автофеллация плода способна умилить всех бабушек на свете, даже самых сварливых, самых строгих нравов. Ибо младенец — это самый неоспоримый, самый несомненный, самый убедительный общий знаменатель любого большинства. А плод, дорогие мои друзья, — это нечто большее, чем младенец, это архимладенец, супермладенец!

Им еще раз пришлось просматривать тот же эпизод, и Шанталь еще раз ощутила легкий приступ отвращения при виде двух влажных ртов, слившихся в поцелуе. Ей вспомнились чьи-то рассказы о том, что в Китае и Японии эротическая культура не знает поцелуя в губы. Слияние слю-

ны не является, стало быть, фатальной чертой эротизма, а всего лишь капризом, отклонением, чисто европейской формой неопрятности.

Закончив показ, Леруа сделал вывод:

— Слюна мамаш — вот тот клей, который скрепит то большинство, что составит клиентуру фирмы Рубашофф.

А Шанталь подправила свою старую метафору: не аромат розы, нематериальный и поэтичный, пронизывает насквозь человечество, а слюна, материальная и прозаичная: вместе с полчищем микробов изо рта любовницы в рот любовника, любовника его жены, от жены к ее ребенку, от ребенка к его тетке, от тетки, подавальщицы в ресторане, к ее клиенту, в чей суп она плюнула, от клиента к его жене, от жены к ее любовнику, а оттуда к бесконечному количеству ртов, так что все мы погрузимся в целое море слюны и составим единое слюнное сообщество, единое человечество — влажное и однообразное.

## 18

В этот вечер, устав от шума моторов и автомобильных гудков, она еле доползла до дома. Ей не терпелось побыть в тишине, но, войдя в подъезд, она услышала крики рабочих и стук молотков. Оказалось, что сломался лифт. Поднимаясь, она чувствовала на всем теле гнусную испарину, удары молотков гремели на всю лестничную клетку — словно барабаны сопровождали этот жар, подстегивали его, раздували, прославляли. Вся мокрая от пота, она остановилась перед дверью квартиры, подождала минутку, чтобы Жан-Марк не увидел ее запыхавшейся.

«Огонь крематория сует мне свою визитную карточку», — сказала она себе. Эта фраза как-то сама собой мелькнула у нее в мозгу. Стоя перед дверью — а грохот не прекращался, — она повторяла ее про себя. Не нравилась ей эта фраза, в ней было что-то нарочито кладбищенское, отдававшее дурным вкусом, но отвязаться от нее она не могла.

Молотки наконец смолкли, жар стал спадать — и она решилась войти. Жан-Марк бросился к ней с объятиями, но, когда она начала что-то

говорить, перестук, хоть и не так слышный за дверью, раздался опять. Ей казалось, что от него некуда деваться. От испарины тоже не было спасения. Ни к селу ни к городу она простонала:

— Лишь огонь крематория избавит нашу плоть от всего этого.

Заметив удивление в глазах Жан-Марка, она осознала всю нелепость этой фразы и принялась поскорее пересказывать только что виденный телефильм и все, что по этому поводу выложил Леруа, не забыв, конечно же, о человеческом плоде, заснятом в чреве матери. Который, повиснув в акробатической позе, ухитрялся заниматься чем-то вроде мастурбации, да так ловко, что ни одному взрослому не удалось бы.

— Нет, ты только представь себе: половая жизнь плода! У него еще никакого сознания нет и в помине, никакой личности, никаких впечатлений, а он уже испытывает сексуальные эмоции, а может быть, и наслаждение. Стало быть, сексуальность предшествует нашему самосознанию. Наше «я» еще не существует, а похоть уже тут как тут. И представь себе, эта идея растрогала всех моих коллег. Когда они глазели на мастурбирующий плод, у них слезы навертывались на глаза.

— А у тебя?

— А я ничего не почувствовала, кроме отвращения. Только отвращение, Жан-Марк, и ничего больше.

Почувствовав странный приступ волнения, она обняла его, прижалась покрепче и так простояла несколько долгих секунд. Потом продолжала:

— Нет, ты еще вот о чем подумай: даже в материнском чреве, которое называют священным, тебя не оставляют в покое. Снимают на пленку, шпионят, подсматривают, как ты мастурбируешь. Следят за твоей жалкой мастурбацией плода, живым ты от них не вырвешься, это каждому ясно. Но и до рождения не вырвешься тоже. И после смерти от них не вырваться. Вот что я прочла как-то в газете: жил-был тип, выдававший себя за русского аристократа в изгнании. Его заподозрили в присвоении чужого имени. Тут он и умер. Для доказательства его вины пришлось разрыть могилу, где покоились бренные останки крестьянки, его предполагаемой матери. Разворошили кости, исследовали гены. Хотела бы я знать, какая благовидная причина позволила им заниматься гробокопательством! Осквернять наготу, абсолютную наготу, суперНаготу скелета! Ах, Жан-Марк, я чувствую только отвращение, сплошное отвращение! А история

с головой Гайдна тебе известна? Ее отрезали от еще не остывшего тела, чтобы какой-то чокнутый ученый мог вскрыть ему мозг и уточнить, в каком именно месте находится его музыкальный гений. А история с Эйнштейном? Он честь честью составил завещание, согласно которому его должны были кремировать. Воля покойного была исполнена, но тут самый верный и преданный его ученик решил, что не может жить без взгляда учителя. И вот перед кремацией он вынул глазные яблоки учителя и опустил их в банку со спиртом, чтобы они смотрели на него до тех самых пор, пока он сам не отдаст богу душу. Вот почему я тебе только что сказала, что вся наша надежда на огонь крематория. Это единственная абсолютная смерть. И я не хочу никакой другой. Я, Жан-Марк, хочу абсолютной смерти.

После недолгого перерыва в комнату снова ворвались удары молотков.

— Только обратившись в пепел, я буду уверена, что никогда их больше не услышу.

— Да что ты такое городишь, Шанталь?

Она смерила его взглядом, потом отвернулась: ее опять душило волнение. Но взволнована на сей раз она была не тем, что только что сказала, а изменившимся голосом Жан-Марка, в котором

звучало нескрываемое участие.

## 19

На следующий день она поехала на кладбище, которое посещала хотя бы раз в месяц, замерла над могилой сына. Бывая там, она всегда разговаривала с ним, вот и сегодня ей нужно было объясниться, оправдаться, и она сказала ему: милый мой, миленький, не думай, что я тебя не люблю или не любила, но как раз потому, что я тебя любила, я не могла бы сделаться такой, какая я теперь есть, если бы ты не оставил меня. Невозможно иметь ребенка и ни во что не ставить весь свет, потому что мы произвели его на этот свет, каков бы он ни был. Ребенок заставляет нас привязаться к миру, поддакивать любому его слову, участвовать в его суете, принимать всерьез любую его глупость. Уйдя из жизни, ты лишил меня радости быть с тобой, но заодно даровал мне свободу. Свободу стоять лицом к лицу с миром, который мне совсем не мил. И я не милую мир именно потому, что в нем больше нет тебя. Мои мрачные мысли уже не могут принести тебе никакого вреда. И теперь, через столько лет после твоего ухода, я могу сказать тебе, что осознала твою смерть как подарок и в конце концов

приняла его, как бы этот дар ни был ужасен.

## 20

На следующее утро она опять обнаружила в ящике конверт, а в нем — письмо, написанное тем же незнакомым почерком. В нем не было и следа прежней лаконичной легковесности. Оно смахивало на подробный отчет. «В прошлую субботу, — сообщал ее корреспондент, — Вы вышли из дому в девять двадцать пять, чуть раньше, чем обычно. Я было двинулся к Вашей автобусной остановке, но Вы пошли в противоположную сторону. Неся в руках чемоданчик, вы заглянули в химчистку. Хозяйка Вас хорошо знает, а быть может, и любит. Я наблюдал с улицы: она прямо вся расцвела, как только Вас увидела, и Вам это было, разумеется, приятно. До меня донесся ее смех, вызванный Вашим появлением, — смех, в котором сквозил отсвет Вашего лица. Потом Вы вышли с полным чемоданом. Что в нем было — Ваши свитера, скатерти или белье? Во всяком случае, этот чемоданчик казался искусственным продолжением Вас самой, Вашей жизни». Дальше незнакомец описывал ее платье и жемчужное ожерелье: «Этих жемчугов я на Вас прежде не видел. Чудо как хороши. Их розоватый оттенок

очень Вам идет. Прямо-таки Вас озаряет».

Это послание было подписано: С. Д. Б. Это ее заинтриговало. Под первым письмом подписи не было, и она могла подумать, что этот аноним был, как бы это сказать, искренним. Какой-то незнакомец просто-напросто послал ей привет, чтобы тут же бесследно исчезнуть. А подпись, пусть даже сокращенная, свидетельствовала о его намерении открыться, пусть не сразу, пусть постепенно, но неизбежно. С. Д. Б., повторяла она с улыбкой: Сириль-Дидье Бургиба. Серж-Давид Барберусса.

Она принялась размышлять над текстом: этот человек, должно быть, следовал за нею по улице; «Я хожу за Вами по пятам», — писал он в первом письме; стало быть, она должна была его видеть. Но она и обычно смотрит на мир без особого интереса, а в тот день и подавно — ведь с нею был Жан-Марк. К тому же это именно он, а не она рассмешил хозяйку химчистки, да и чемоданчик нес тоже он. Она перечла строчку о чемоданчике, который «казался искусственным продолжением Вас самой, Вашей жизни». Как это чемоданчик мог показаться «продолжением ее жизни», если она его не несла? Не был ли этим «продолжением жизни» сам Жан-Марк? Не хотел ли ее корре-

спондент таким образом уколоть исподтишка ее возлюбленного? И тут же, придя в хорошее настроение, она осознала весь комизм своей реакции: вольно ей защищать Жан-Марка даже от воображаемого приставалы!

Как и в первый раз, она не знала, что делать с письмом, и пантомима сомнений в ее исполнении повторилась: она заглянула в унитаз, совсем было решив бросить письмо туда, порвала конверт в мелкие клочья и спустила их вместе с водой, потом сложила письмо, отнесла к себе в спальню и сунула под стопку лифчиков. Склонившись над бельевым ящиком, услышала скрип открывающейся двери. Быстренько закрыла ящик и обернулась: на пороге стоял Жан-Марк.

Медленно подошел к ней, окинул незнакомым взглядом, неприятно пристальным, а приблизившись вплотную, взял за локти и, застыв сантиметрах в тридцати, все продолжал разглядывать. Смутившись от всего этого, она была не в силах раскрыть рта. Когда ее замешательство сделалось невыносимым, он прижал ее к себе и, рассмеявшись, сказал:

— Я просто хотел взглянуть на твое веко: оно увлажняет роговицу точь-в-точь как «дворник» — ветровое стекло.

## 21

Со времен своей последней встречи с Ф. он все раздумывал над этим: глаз — окно души; средоточие красоты лица; точка, где сосредоточена подлинная суть личности; но в то же время орган зрения, который нужно без конца смачивать, увлажнять, обмывать специальной солоноватой жидкостью. Взгляд, величайшее из чудес, дарованных человеку, регулярно затмевается механическим движением века, которое его увлажняет. Как ветровое стекло, увлажняемое «дворником». Впрочем, теперь скорость «дворника» можно регулировать: одно движение в десять секунд, почти такой же ритм, которому подчиняется веко.

Жан-Марк вглядывается в глаза тех, с кем ему приходится говорить, наблюдая за движением века; оказывается, что это не так-то легко. Мы не осознаем мерцания век. И он говорит себе: во что я всматриваюсь чаще всего, как не в глаза собеседников, стало быть, в их мигающие веки? И все же не замечаю этого мигания. Я упускаю из виду то, что у меня прямо перед глазами.

И еще он говорит себе вот что: орудуя в своей

мастерской, Господь по чистой случайности нашел модель тела, чьей душой все мы должны стать хотя бы на мгновение ока. Но как плачевна участь души, оказавшейся в сработанном на скорую руку теле, чьи глаза были бы не способны ничего видеть, если их не увлажнять каждые десять-двадцать секунд! Как после всего этого поверить, что находящийся лицом к лицу с нами человек — существо свободное, независимое, самодовлеющее? Как поверить, что его тело — верное отражение обитающей в нем души? Чтобы поверить во все это, следовало бы забыть о беспрестанном моргании век. Забыть о кустарной мастерской, в которой изготовлены все мы. Следовало бы подчиниться договору, обрекающему нас на забвение. Ведь он был навязан нам самим Господом Богом.

Но между детством и отрочеством Жан-Марка наверняка же был недолгий промежуток, когда он еще и понятия не имел об этом договоре забвения, когда он отрешенно следил, как веко скользит по глазному яблоку: он констатировал, что глаз — это вовсе не окно, заглянув в которое можно увидеть душу, неповторимую и чудодейственную, а кое-как сработанный механизм, запущенный кем-то в незапамятные времена. И

потому момент внезапного юношеского озарения непременно должен был оказаться шоковым. «Ты остановился, — сказал ему Ф.,— смерил меня взглядом и произнес тоном, не допускающим возражения: а мне стоит лишь увидеть, как она моргнет…» Жан-Марк не помнил об этом. Это был шок, обреченный на забвение. Он и в самом деле забыл бы о нем навсегда, если бы не напоминание Ф.

Погруженный в эти мысли, он вернулся домой и отворил дверь в спальню Шанталь. Она что-то убирала в бельевой шкафчик, и Жан-Марку пришло на ум взглянуть на ее веко, скользящее по глазу, которое казалось ему окном ее невыразимой души. Подошел, взял Шанталь за локти, всмотрелся в глаза; она и в самом деле моргала, даже чаще, чем следует, словно он устроил ей что-то вроде испытания.

Он видел, как ее веко скользит вверх и вниз, быстро, слишком быстро, и ему захотелось вновь пережить свое собственное ощущение, ощущение шестнадцатилетнего Жан-Марка, которому этот глазной механизм казался чем-то безнадежно разочаровывающим. Но необычная быстрота мигания скорее умилила его, нежели разочаровала: в «дворнике», протирающем глаза Шанталь,

ему почудилось крыло ее души — трепетное, испуганное, отбивающееся. Чтобы скрыть это внезапно налетевшее на него чувство, он прижал ее к груди.

А когда разжал объятия, увидел все ее лицо, смущенное, растерянное. И сказал ей:

— Я просто хотел взглянуть на твое веко: оно увлажняет роговицу глаза точь-в-точь как «дворник» — ветровое стекло.

— Не понимаю, о чем это ты говоришь, — отозвалась она, тут же справившись со своим замешательством.

И он стал ей рассказывать о забытом воспоминании, которое пробудил в нем его бывший друг.

## 22

— Когда Ф. напомнил мне об одной фразе, которую я якобы обронил, будучи лицеистом, мне показалось, что он порет явную чушь.

— Ну уж нет, — сказала Шанталь, — насколько я тебя знаю, ты и впрямь мог ляпнуть что-нибудь в этом духе. Все сходится. Ты только вспомни, как ты пытался заниматься медициной!

Он был далек от недооценки того магического мига, когда мужчина выбирает свою будущую профессию. Прекрасно сознавая, что жизнь слишком коротка и выбор этот может оказаться непоправимым, он изводился оттого, что ни одна из профессий не привлекает его больше другой. Скептически перебирал ассортимент предлагавшихся ему возможностей: прокурор, посвящающий всю свою жизнь преследованию себе подобных; учитель, козел отпущения для плохо воспитанной детворы; технические дисциплины, чей прогресс ведет к малоощутимой выгоде и явному вреду; столь же напыщенное, сколь и пустое, суесловие наук гуманитарных; оформление интерьеров (оно влекло его как память о дедушке, кормившемся столярным ре-

меслом), полностью зависящее от веяний моды, которую он презирал; ремесло бедных аптекарей, сводившееся к продаже всевозможных пакетов и пузырьков. И когда он вопрошал себя: да какое же ремесло можно выбрать на всю жизнь, его внутренний голос тут же терял дар речи. Остановившись в конце концов на медицине, он пошел на поводу не у какого-то тайного влечения, а у бескорыстного идеализма, медицина казалась ему единственным занятием, безусловно приносящим пользу людям, а к тому же технический прогресс в этой области был чреват лишь минимумом отрицательных последствий.

Разочарование не заставило себя ждать, когда на втором курсе пришлось проводить немало времени в анатомичке: там ему суждено было испытать шок, от которого он так и не оправился: он оказался не способен заглянуть в лицо смерти; чуть позже до него дошло, что истина была еще страшнее: он оказался не способен взглянуть на тело, на его роковое, безответственное несовершенство; на часовой механизм разложения, неумолимо властвующий над ним; на его кровь, его внутренности, его страдания.

Когда он говорил Ф. о своем отвращении к мигающему веку, ему исполнилось, должно быть,

лет шестнадцать. А когда он решил изучать медицину, стукнуло, наверное, девятнадцать; уже успев подписать договор забвения, он не помнил о том, что сказал другу три года назад. Тем хуже для него. Это воспоминание могло бы послужить ему предостережением. Могло бы подсказать, что его выбор в пользу медицины был чисто теоретическим, что он остановился на нем, не имея ни малейшего понятия о себе самом.

Вот таким-то манером он и штудировал медицину целых три года, прежде чем сбежал с факультета, как пассажир с тонущего корабля. Какую же новую стезю избрать, если столько лет прошли впустую? За что зацепиться, если его внутренний голос все так же упорствовал в своем молчании? Он в последний раз спустился по широкой факультетской лестнице; у него было такое чувство, будто он стоит один-одинешенек на вокзальной платформе, от которой давно отошли все поезда.

## 23

Шанталь исподтишка, но внимательно оглядывалась вокруг, стараясь высмотреть своего корреспондента. На углу их улицы приткнулось бистро: идеальное местечко для того, кто решил бы ее выслеживать; оттуда просматривается подъезд ее дома, две улицы, по которым она ходит каждый день, и остановка ее автобуса. Она вошла, присела за столик и принялась разглядывать клиентов. Заметила у стойки молодого человека: увидев, как она вошла, он тут же отвел взгляд в сторону. Это был завсегдатай бистро, она знала его в лицо. Даже вспомнила, что прежде их взгляды не раз встречались, не мешало ему неизменно делать вид, будто он не замечает ее.

А однажды она указала на него своей соседке. «Да это же мсье Дюбарро!» — воскликнула та. — «Дюбарро или дю Барро?» Это соседке было неизвестно. «А как его зовут? Вы знаете?» Нет, этого соседка тоже не знала.

«Дю Барро» — это было в самый раз. Во всяком случае, ее обожателя звали не Сириль-Дидье и не Серж-Давид, поскольку «Д» оказалось частицей «дю». Имя у него могло быть только одно. Сириль

дю Барро. Или Серж. Она тут же вообразила себе разорившуюся аристократическую семью из провинции. Семейство, смехотворно гордящееся своей частицей «дю». Представила себе этого Сержа дю Барро у стойки, выставляющего напоказ свое безразличие, и тут же подумала, что эта частица ему идет, вполне соответствует его облику пресыщенного аристократа.

Несколько дней спустя, когда она шла по улице вместе с Жан-Марком, этот самый дю Барро попался им навстречу. На ней было ожерелье из розоватых жемчугов, подарок Жан-Марка. Находя это украшение слишком уж броским, она носила его редко. Да и то лишь потому, что дю Барро в своем письме сказал о жемчужинах: «Чудо как хороши!» Он должен был подумать (и, впрочем, не без основания!), что она надела их ради него, для него. Он мельком взглянул на нее, она тоже бросила взгляд в его сторону и, вспомнив о жемчугах, покраснела. Покраснела до кончиков ногтей, будучи уверенной, что он это заметил. Они разминулись, он был уже далеко от них, и только тогда Жан-Марк сделал удивленные глаза:

— Ты так покраснела! С чего бы это? Что случилось?

Она тоже была удивлена: с чего бы это ей краснеть? Устыдилась того, что уделяет слишком уж большое внимание этому человеку? Да ведь это и вниманием нельзя назвать — пустячное любопытство. Господи, почему это она в последнее время так часто и так легко краснеет — словно девчонка какая-нибудь?

Девчонкой она и в самом деле часто краснела; она находилась в начале пути, по завершении которого должна была превратиться в женщину; ее собственное тело казалось ей чем-то обременительным, стесняющим, вызывающим стыд. Повзрослев, она отучилась краснеть, даже и думать забыла об этом. Потом наплывы румянца возвестили ей о конце пути, и она снова начала стесняться своего тела. Стыдливость проснулась в ней снова, и она снова научилась краснеть.

## 24

Письма продолжали приходить одно за другим, и ей становилось все труднее и труднее оставлять их без внимания. Они были умны, благопристойны, без капли насмешки, без тени назойливости. Ее корреспондент ничего не хотел, ни о чем не просил, ни на чем не настаивал. Ему хватало ума (или хитрости) не выставлять напоказ собственную персону, свою жизнь, свои чувства и желания. Это был настоящий соглядатай; он писал не о себе, а только о ней. В его письмах звучали нотки восхищения, а не обольщения. А если обольщение и было их подспудной целью, то путь к ней казался очень долгим. Впрочем, последнее из посланий было чуть более смелым: «Я на целых три дня потерял Вас из виду. А когда увидел снова, был восхищен Вашей походкой — такой легкой, словно бы устремленной ввысь. Вы были похожи на пламя, которое может существовать лишь в порыве и танце. Вы не шли, а парили в окружении языков пламени, пламени веселого, вакхического, опьяняющего, неистового. Мысленно я окутываю Ваше нагое тело мантией, сотканной из языков пламени. Я облачаю Ваше

белое тело в кардинальскую мантию карминного цвета. И в этом облачении провожаю Вас в красную опочивальню, на красное ложе, — Вас, мой аленький цветочек, моя прекраснейшая красная кардиналия![5]»

Несколько дней спустя она купила себе красную ночную рубашку. Вернулась домой и принялась охорашиваться перед зеркалом. Поворачивалась так и этак, слегка приподнимала подол: нет, никогда не выглядела она такой стройной, никогда ее кожа не сияла такой белизной!

Вернулся Жан-Марк. Застыл от изумления, видя, как она, в красной рубашке бесподобного покроя, кокетливой и соблазнительной походкой подкралась к нему, увернулась от его объятий, снова подошла и опять отпрянула. Не устояв против этой соблазнительной игры, он начинает гоняться за ней по всей квартире. Перед глазами у него тут же вспыхивает сценка незапамятных времен: женщина, преследуемая мужчиной; было от чего потерять голову. Она обегает большой круглый стол, в свою очередь опьяненная мыслью о женщине, которая убегает от распаленного страстью мужчин, потом ищет спасения

---

**[5] Примечания: 5**

*Кардиналия* (или лобелия) — экзотический пурпурный цветок.

на постели, задирает до подбородка свою красную рубашку. В этот день он любит ее с новой и негаданной силой, и внезапно ей начинает казаться, что в спальне есть кто-то еще, и он следит за ними с неослабным вниманием, она видит его лицо, лицо Шарля дю Барро — ведь это он нарядил ее в красную рубашку, навязал ей эту любовную игру, и, представляя его себе, она стонет от наслаждения.

Потом они лежат рядом, еле переводя дыхание, но ее продолжает будоражить образ того, кто следит за нею изо дня в день; она лепечет на ухо Жан-Марку бессвязные слова о карминной мантии, которую она набросила прямо на голое тело, чтобы вот так, в образе прекраснейшей красной кардиналии, прошествовать по церкви, битком набитой прихожанами. Тут Жан-Марк снова обнимает ее и, влекомый волнами ее неумолчных фантазий, возобновляет любовную схватку.

Наконец все успокаивается; перед глазами у нее остается только смятая их телами красная рубашка в уголке кровати. Перед ее полузакрытыми глазами это красное пятно превращается в клумбу розария, она вдыхает хрупкий полузабытый аромат, аромат розы, стремящийся обнять всех мужчин на свете.

## 25

На следующий день, в субботу утром, она открывает окно и видит за ним восхитительную небесную голубизну. Чувствуя себя счастливой и оживленной, она ни с того ни с сего спрашивает Жан-Марка, который уже собрался уходить:

— Интересно, что сейчас поделывает мой бедный Британик?[6]

— Странный вопрос!

— Он все такой же похотливый? Да и жив ли он еще?

— Почему ты о нем вспомнила?

— Сама не знаю. Просто так.

Жан-Марк отправился по своим делам, она осталась одна. Заглянула в ванную, потом подошла к платяному шкафу, ей хотелось сегодня выглядеть особенно привлекательной. Окинула взглядом полки — и тут ее внимание привлекла какая-то мелочь. Поверх стопки белья лежала ее аккуратно сложенная косынка, а ведь она отлично помнила, что бросила ее кое-как. Кто же это взял-

---

**[6] Примечания: 6**

*Тиберий Клавдий Британик* — (41–55 гг. от Р.Х.) — сын Клавдия и Мессалины, наследник римского престола. Отравлен по приказу Нерона.

ся наводить порядок в ее гардеробе? Приходящая домашняя работница появляется раз в неделю и никогда не заглядывает в ее шкафы. Шанталь подивилась собственной наблюдательности и подумала, что этому качеству она обязана летним отпускам, проведенным на даче у бывшей золовки: хороший был урок! Там она постоянно чувствовала себя под надзором и быстро приучилась запоминать, что, куда и как положено из ее вещей, примечать малейшую перемену в их раскладке, произведенную посторонней рукой. Радуясь тому, что это прошлое уже никогда не вернется, она с довольным видом посмотрела на себя в зеркало и вышла. Отперла внизу почтовый ящик, где ее поджидало новое письмо. Сунула его в сумочку и задумалась над тем, где бы его прочесть. Неподалеку был маленький скверик, где она и уселась под необъятной липовой кроной, уже тронутой осенней желтизной и пронизанной горячим солнцем.

«…Ваши цокающие по тротуару каблучки навели меня на мысль о еще не пройденных мною дорогах — они расходятся во все стороны, как древесные ветви. Вы пробудили во мне мои юношеские грезы: я представлял себе мою будущую жизнь чем-то вроде дерева. В ту пору я называл

его древом возможностей. Жизнь представляется такой совсем недолго. Потом она рисуется тебе дорогой, с которой не свернешь ни вправо, ни влево, или туннелем, из которого ни за что не выберешься. И однако прежний образ дерева остается в нас подобием неизгладимой мечты. Вы напомнили мне это древо, и мне хотелось бы взамен подарить Вам его образ, дать Вам вслушаться в его чарующий шелест».

Она подняла голову. Там, в вышине, подобно золотому потолку, украшенному птицами, простиралась липовая крона. Ни дать ни взять — крона того древа, о котором говорилось в письме. Это метафорическое древо сплеталось в ее сознании с ее давней метафорой розы. Пора, однако, и домой. В знак прощания она еще раз взглянула ввысь и пошла прочь.

Сказать по правде, мифологическая роза ее девичества не послужила поводом для сколько-нибудь серьезных приключений; ей, в сущности, и не вспомнить теперь ни о чем конкретном, кроме, пожалуй, забавного случая с одним англичанином куда старше ее самой, который лет двенадцать назад, заглянув к ней в агентство, добрых полчаса пытался за нею ухаживать. Гораздо позднее она узнала, что он слыл страшным

бабником и блудодеем. Их встреча осталась без последствий, если не считать, что она стала предметом шуточек со стороны Жан-Марка (он-то и окрестил этого англичанина Британиком) да прояснила для Шанталь значение нескольких слов, которые до тех пор были ей безразличны: слово «блудодей», например, а также слово «Англия» — в противоположность общепринятому мнению, оно стало звучать для нее как синоним плотских утех и порока.

Пока она шла обратно, в ее ушах не смолкал птичий щебет среди ветвей липы, а перед глазами маячил старый порочный англичанин; отуманенная этими образами, она шагала, никуда не торопясь, и сама не заметила, как оказалась на своей улице; в полусотне метров от нее из бистро на тротуар вынесли столики, за одним из которых устроился ее молодой корреспондент, один, без книги, без газеты, он сидел в компании большой бутыли красного вина и глядел в пустоту с выражением блаженной лени на лице — точно такой же, какую испытывала Шанталь. Сердце ее заколотилось. Как все это дьявольски ловко подстроено! Откуда он мог знать, что повстречает ее тотчас после того, как она прочтет его письмо? Сама не своя от волнения, словно она

шагала в красной мантии, наброшенной прямо на голое тело, она подходила все ближе и ближе к соглядатаю интимнейших подробностей ее жизни. Их разделяет всего несколько шагов, она ждет мига, когда он ее окликнет. Как ей следует в таком случае поступить? Вот уж не чаяла она подобной встречи! Не броситься же ей бежать, словно какой-нибудь оробевшей девчонке? Она замедляет шаг, она старается не смотреть в его сторону (господи боже, она и впрямь ведет себя как настоящая девчонка, уж не значит ли это, что она так постарела?), но — странное дело, — сидя перед своей бутылью, он все с тем же божественным безразличием продолжает смотреть в пустоту, словно бы вовсе ее не замечая.

Она уже далеко, она держит путь к дому. Неужели у дю Барро не хватило смелости к ней обратиться? Или он сумел пересилить себя? Да нет же, нет. Его безразличие было таким искренним, что у Шанталь не остается больше никаких сомнений: она обманулась, она глупейшим образом обманулась.

## 26

Вечером она вместе с Жан-Марком пошла в ресторан. Парочка за соседним столиком была погружена в бесконечное молчание. Хранить молчание на виду у всех — дело нелегкое. Куда эти двое должны были девать глаза? Набрав воды в рот, смотреть друг на друга — что может быть комичнее? Пялиться в потолок? Это придало бы их игре в молчанку еще более показной характер. Коситься на соседние столики? В таком случае они рисковали бы напороться на удивленные взгляды, это было бы хуже всего.

— Послушай, — сказал Жан-Марк, обращаясь к Шанталь, — это вовсе не значит, что они друг друга ненавидят. Или что взаимное безразличие заменило им любовь. Мы не вправе мерить степень обоюдной любви двух людей по количеству слов, которыми они обмениваются. Просто-напросто у них сейчас пусто в голове. А может быть, они не решаются беседовать из деликатности, зная, что им нечего сказать. В этом смысле их можно считать полной противоположностью моей тетки из Перигора. Когда нам с ней приходится встречаться, она тараторит без умолку.

Я попытался понять методику ее словоохотливости. Она как бы дублирует словами все, что видит, и все, что делает. Как она проснулась поутру, как вместо завтрака ограничилась чашкой черного кофе, как ее муженек отправился потом на прогулку — на прогулку, Жан-Марк, ты только представь себе, — как он вернулся и приклеился к телеку, представь! И совсем осоловел, а потом, притомившись у экрана, принялся листать какую-то книжонку. Вот таким-то образом — это ее подлинные слова — он и проводит время… Ты знаешь, Шанталь, мне очень нравятся такие простецкие, ничего не значащие фразы — в них словно выражается какая-то тайна. «Вот таким-то образом он и проводит время» — да это же не фраза, а некая сакральная формула! Их основная проблема — это время, время должно проходить, проходить само собой, без малейших усилий с их стороны, чтобы им не нужно было, как усталым пешеходам, шагать по нему на своих на двоих, вот потому-то она и болтает без умолку, ведь слова, которые она выпаливает, заставляют время потихоньку пошевеливаться, а когда ей случается набрать воды в рот, время останавливается, выступает из тьмы — огромное, тяжкое, наводящее жуть на мою беднягу тетушку, и она, сама не своя

от страха, спешит найти хоть кого-нибудь, кому она могла бы рассказать, что у ее дочери настоящая морока с сыном, у которого начался понос, да, Жан-Марк, понос, жуткий понос, и ей пришлось обратиться к врачу, ты его не знаешь, он живет недалеко от нас, а мы его знаем давным-давно, да, представь себе, Жан-Марк, давным-давно, он и меня пользовал в ту зиму, когда я подхватила грипп, ты помнишь, Жан-Марк, лихорадка у меня было просто страшная…

Шанталь не смогла сдержать улыбки, а Жан-Марк принялся рассказывать другую историю:

— В ту пору мне едва стукнуло четырнадцать лет, и мой дедушка — не столяр, а другой — лежал при смерти. Уже который день у него изо рта исходил всего один звук, ни на что не похожий, даже на стон, потому что он не мучился, но и сходства с каким-то словом тоже нельзя было уловить, и не оттого, что он утратил дар речи, а просто потому, что ему нечего было сказать, не о чем сообщить, и никаких конкретных просьб у него не было, да и не с кем ему было разглагольствовать, он никем больше не интересовался, он остался наедине со своим непонятным звуком, одним-единственным звуком, похожим на бесконечное «а-а-а-а», прерывавшимся лишь тогда, когда деду нужно

было вздохнуть. Я смотрел на него как завороженный, и никогда мне этого зрелища не забыть, потому что, каким бы мальцом я в ту пору ни был, мне все-таки было понятно: вот жизнь, как таковая, столкнулась со временем, как таковым; и еще я понимал, что это столкновение называется скукой. Скука моего дедушки выражалась этим звуком, этим бесконечным «а-а-а-а», потому что без этого «а-а-а-а» время давно раздавило бы его, и не было у дедушки другого оружия для борьбы со временем, кроме этого жалкого «а-а-а-а», которое все не кончалось и не кончалось.

— Ты хочешь сказать, что он умирал и скучал?

— Именно это я и хочу сказать.

Они говорили о смерти, о скуке, они пили бордо, они смеялись, они шутили, они были счастливы.

Потом Жан-Марк вернулся к своей мысли:

— Я сказал бы, что количество скуки — если только скука поддается измерению — теперь куда больше, чем прежде. Потому что прежние ремесла, по крайней мере в большинстве своем, были немыслимы без сердечной к ним привязанности: крестьяне любили свою землю, мой дедушка был волшебником по части добротных столов, сапожники знали назубок ноги своих односельчан; прибавь сюда же лесников и садов-

ников; полагаю даже, что солдаты истребляли один другого не без сердечной страсти. Смысл жизни тогда был не отвлеченной проблемой, он вполне естественно воплощался в них самих, в их мастерских, в их пашнях. Каждое ремесло взращивало соответствующий ему образ мыслей, образ жизни. Врач думал не так, как крестьянин, поведение военного отличалось от поведения учителя. Теперь же нас всех равняет, всех стрижет под одну гребенку наше общее безразличие к нашей работе. В конце концов это безразличие и стало нашей страстью. Единственной всеобщей страстью нашего времени.

— И однако, скажи-ка мне, — прервала его Шанталь, — когда ты был инструктором по лыжному спорту, когда ты кропал статейки по дизайну, а потом о медицине или делал эскизы мебели…

— …да, именно это мне больше всего нравилось, но никакого толку из всего этого не выходило…

— …или когда ты сидел без работы и ровным счетом ничего не делал, ты ведь тоже должен был скучать!

— Все изменилось с тех пор, как мы с тобой познакомились. Не потому, что мои мелкие работенки стали меня больше увлекать. А потому, что я научился превращать все, что вокруг меня

происходит, в темы наших разговоров.

— Можно было бы поговорить и о чем-нибудь еще!

— Два любящих существа, предоставленные самим себе, оторванные от мира, — это, конечно, дело хорошее. Но чем могут питаться их разговоры с глазу на глаз? Как бы пошловат ни был мир, им без него не обойтись, если они хотят поддерживать беседу.

— Вполне могли бы и помолчать.

— Как эта вот парочка за столом напротив? — усмехнулся Жан-Марк. — Ну уж нет, никакая любовь не переживет игры в молчанку.

## 27

Гарсон склонился над их столиком, расставляя десерт. Жан-Марк ухватился за другую тему:

— Ты знаешь того нищего, что время от времени появляется у нас на улице?

— Нет.

— Да как же нет, ты его наверняка встречала. Тип лет сорока с ухватками чиновника или школьного учителя, который дошел до ручки и теперь выклянчивает у прохожих гроши. Ты его не видела?

— Нет.

— Да как же нет! Он всегда торчит под платаном, единственным, что остался у нас на улице. Крону видно прямо из нашего окна.

Образ платана тут же напомнил ей об этом попрошайке:

— Ах да! Видела, видела!

— Мне страшно хотелось к нему обратиться, завязать разговор, но знала бы ты, как это трудно.

Шанталь не расслышала последних слов Жан-Марка: перед ее мысленным взором стоял нищий. Человек под деревом. Безликий человек, чья сдержанность прямо-таки бросается в глаза. Все-

гда безукоризненно одетый, так что прохожие с трудом догадываются, что он побирается. Несколько месяцев назад он обратился и к ней и очень вежливо попросил милостыню.

Жан-Марк тем временем продолжал:

— Это трудно, потому что он, должно быть, недоверчив. Он не понял бы, с какой стати я решил с ним заговорить. Из любопытства? Ничего хорошего оно ему не сулит. Из жалости? Это унизительно. Чтобы предложить ему что-нибудь? Но что, собственно, я могу ему предложить? Я попытался влезть в его шкуру, чтобы понять, что он может ждать от других. Но так ничего и не понял.

Она снова представила себе этого нищего под его излюбленным деревом, и это дерево тут же, в мгновение ока, подсказало ей, что автор писем — это он. Он выдал себя своей метафорой дерева — он, человек под деревом, исполненный образом своего дерева. Ее мысли мгновенно выстроились в цепочку: никто, кроме него, человека без занятий, у которого уйма свободного времени, не может незаметно сунуть письмо к ней в ящик, никто, кроме него, укрытого своей униженностью, не может, оставаясь незамеченным, следить за ее повседневной жизнью.

А Жан-Марк продолжал:

— Я мог бы ему сказать вот что: помогите мне привести в порядок мой погреб. Он отказался бы — не по лености, а потому, что у него нет рабочей одежды, а тот костюм, что на нем, он должен беречь. И все-таки мне страшно бы хотелось с ним поговорить. Ведь это мой alter ego!

Не слушая Жан-Марка, Шанталь спросила:

— А что за интимная жизнь у него может быть?

— Интимная жизнь? — расхохотался Жан-Марк. — Да никакой, ровным счетом никакой! Одни мечтания!

«Мечтания», — повторила про себя Шанталь. Стало быть, она — всего лишь мечтание какого-то горемыки. Но почему он выбрал для своих мечтаний ее, именно ее?

А Жан-Марк продолжал гнуть свое:

— Как-то раз мне захотелось ему сказать: а не выпить ли вам со мной чашечку кофе? Ведь вы мой alter ego. Вам выпала такая судьба, от какой я сам отвертелся только по случайности.

— Не городи глупостей, — сказала Шанталь. — Никогда тебе такая судьба не угрожала.

— Мне не забыть время, когда я бросил медицинский факультет и понял, что все поезда

ушли.

— Да, я знаю, знаю, — подтвердила Шанталь, у которой эта история навязла в зубах, — но как можно сравнивать твою мелкую неудачу с настоящими напастями этого человека, который ждет, чтобы кто-нибудь швырнул ему монетку в ладонь?

— Отказаться от продолжения занятий — это, конечно, просто неудача, но я-то ведь заодно отрекся и от всех своих амбиций. Я внезапно стал человеком без амбиций. А растеряв свои амбиции, тут же очутился на задворках мира. Хуже того: мне именно там и хотелось находиться. Тем более что никакая нищета мне не угрожала. Но если у тебя нет амбиций, если ты не горишь желанием преуспеть, добиться признания, тебе ничего не остается, кроме как устроиться на краю пропасти. Там-то я и устроился, и, надо сказать, со всеми удобствами. И плевать мне было на то, что устроился я не где-нибудь, а на краю пропасти. Стало быть, можно безо всякого преувеличения сказать, что я нахожусь на стороне какого-то нищеброда, а не на стороне владельца этого роскошного ресторана, где мне так приятно сидеть.

«Итак, я стала эротическим кумиром попрошайки, — сказала себе Шанталь. — Честь поис-

тине шутовская. — И тут же поправила себя: — А почему это желания нищего менее достойны уважения, чем прихоти какого-нибудь дельца? Будучи несбыточными, эти желания обладают одним неоценимым достоинством: они свободны и искренни».

Вслед за тем в голову ей пришла другая мысль: «В тот день, когда, вырядившись в красную рубашку, она играла в постельные игры с Жан-Марком, тот, третий, кто следил за ними, кто присутствовал при этих играх, был не молодой человек из бистро, а этот самый нищий! Ведь это он набросил ей на плечи красную мантию, ведь это он превратил ее в порочную кардиналию!» На мгновенье эта мысль показалась ей стеснительной и тягостной, но ее чувство юмора быстро взяло верх, и в глубине души она беззвучно рассмеялась. Она представила себе этого бесконечно застенчивого типа в трогательном галстуке: он стоит у стены их спальни с протянутой рукой, смотря неотрывным и порочным взглядом на то, что они выделывают прямо перед ним. Она представила себе, как, отыграв любовную сцену, голышом и вся в поту, она поднимается с постели, берет со стола свою сумочку, выуживает из нее монетку и кладет ее в протянутую ладонь. И уж

тут-то ей еле удалось удержаться от настоящего хохота.

## 28

Жан-Марк смотрел на Шанталь, на ее лицо, внезапно озарившееся потаенным весельем. Он не горел желанием узнать у нее о причине этого веселья, он был доволен и тем, что просто-напросто смотрит на нее. Пока она предавалась своим потешным фантазиям, он думал о том, что Шанталь — его единственная живая связь с миром. Что ему там говорят о заключенных, гонимых, изголодавшихся?

Их несчастья могут тронуть его лично глубоко и болезненно лишь тогда, когда он вообразит Шанталь на их месте. Что ему там твердят о женщинах, изнасилованных во время гражданской войны? Он видит в них Шанталь, изнасилованную Шанталь. Только она, и она одна, может избавить его от равнодушия. Только посредством ее он способен сострадать.

Ему хотелось бы сказать Шанталь обо всем этом, но он стыдился патетики. Тем более что в голову ему тут же пришла другая мысль, полностью противоположная первой: что будет, если он потеряет это единственное существо, связывающее его со всем родом человеческим?

Он думал не о ее смерти, а о чем-то ином, куда более тонком, неуловимом; последнее время это наваждение просто не давало ему покоя. Что, если однажды он не узнает ее; что, если однажды он убедится, что Шанталь — это вовсе не та Шанталь, с которой он прожил столько лет, а та женщина с пляжа, которую он за нее принял; что, если однажды та достоверность, которой была для него Шанталь, окажется иллюзорной, и она станет для него такой же безразличной, как и все остальные? Она тронула его за руку:

— Что это с тобой? Ты снова нос повесил. Уже который день не в своей тарелке. Что случилось?

— Ничего, ровным счетом ничего.

— Нет, что-то случилось. Скажи, что тебя беспокоит в данную минуту?

— Я представил себе, что ты — это вовсе не ты.

— Как это?

— Что ты совсем не такая, как мне представляется. Что я обманулся в твоей подлинности.

— Ровным счетом ничего не понимаю.

Он видел стопку лифчиков. Жалкий бугорок лифчиков. Этот смешной бугорок. Но из этого морока тотчас просквозило реальное лицо Шанталь, сидящей напротив. Он ощущал на своей руке тепло ее ладони, и оно мгновенно избавило

его от впечатления, будто перед ним какая-то чужачка или предательница. Он улыбнулся:

— Забудь обо всем этом. Считай, что я ничего не говорил.

## 29

Вжавшийся в стену спальни, где они занимались любовью, с протянутой рукой, с глазами, жадно пожирающими их нагие тела, — таким он представился ей за ужином в ресторане. А теперь он стоял, прислонившись к дереву, и робко протягивал руку к прохожим. Сначала она хотела проскользнуть мимо, притворившись, будто не замечает его, потом намеренно, решительно, томимая смутным желанием прояснить запутанную ситуацию, остановилась прямо перед ним. Не поднимая глаз, он твердил заученную фразу:

— Помогите чем можете.

Она оглядела его: обескураживающе опрятный, при галстуке, седоватые волосы зачесаны на затылок. Красив ли он, непригляден ли? Понятия красоты и неприглядности на таких, как он, не распространяются. Ей хотелось сказать ему что-нибудь, но она никак не могла сообразить, что же именно. Замешательство лишило ее дара речи, и она просто-напросто открыла сумочку, поискала мелочь, но кроме нескольких сантимов ничего не нашла. А он все стоял, словно врос в землю, недвижимый, с протянутой к ней ужасной ладо-

нью, и его неподвижность еще увеличивала гнет молчания. Сказать ему теперь «простите, больше у меня ничего нет» показалось ей невозможным, и она стала искать банкноту, но обнаружила только билет в двести франков; такая несуразно большая для милостыни сумма заставила ее залиться краской: можно было подумать, что она тратит ее на содержание воображаемого любовника или переплачивает ему за еще не присланные любовные письма. Когда вместо холодной медяшки нищий ощутил в своей ладони банкноту, он поднял голову, и она увидела его глаза — в них застыло страшное удивление. Это был взгляд насмерть перепуганного человека, и она, чувствуя себя крайне неловко, поспешила удалиться.

Подавая ему банковский билет, она все еще продолжала думать, что дает его своему обожателю. И только отойдя от него на порядочное расстояние, обрела способность мыслить хоть чуточку более здраво: в его глазах не было ни проблеска сообщничества, ни малейшего немого намека на некую совместно хранимую тайну; ничего, кроме искреннего и безграничного удивления; удивления перепуганного бедняка. И тут-то ей стало ясно: считать этого человека автором пи-

сем — верх абсурда.

Злость на себя самое ударила ей в голову. С какой стати она уделяет столько внимания всей этой чепухе? С какой стати она влипла в эту авантюру, затеянную каким-то скучающим бездельником?

Мысль о стопке писем, спрятанной под лифчиками, внезапно показалась ей невыносимой. Она представила себе соглядатая, исподтишка подсматривающего за всем, что она делает, но знать не знающего, о чем она думает. Увиденное дает ему основания считать ее особой, пошлейшим образом помешанной на мужчинах, более того — особой романтичной и глупой, способной хранить как святыню каждую любовную записку.

Не в силах более выносить насмешливый взгляд незримого соглядатая, она, едва переступив порог дома, бросается к бельевому шкафу. Всматривается в стопку лифчиков — и в глаза ей бросается какая-то несуразность. Ах да, она заметила ее еще вчера: головной платок сложен совсем не так, как она сама обычно его складывает. Она была так взволнована, что тут же обо всем забыла. Но на сей раз невозможно оставить без внимания след чьей-то чужой руки. Что ж, все яснее ясного! Он прочел письма! Он подсмат-

ривает за ней! Шпионит, выслеживает!

Ее душит приступ гнева, который она готова излить на всех сразу: на незнакомца, который беспардонно морочит ей голову своими письмами; на себя самое, глупейшим образом прячущую эти письма; на Жан-Марка, который шпионит за ней. Она достает пакет и направляется (в который уже раз!) в отхожее место. Перед тем как изорвать послания в клочья и спустить в унитаз, она напоследок просматривает их — и почерк, которым они написаны, вдруг кажется ей подозрительным. Вглядывается повнимательней: чернила одни и те же, буквы чересчур крупны и слегка наклонены влево, но в их начертании заметен какой-то разнобой, словно писавшему не всегда удавалось соблюсти одинаковый почерк. Эта особенность кажется ей до такой степени странной, что она и на этот раз не решается порвать письма, а усаживается за стол, чтобы их перечитать. Останавливается на втором, где описано ее посещение химчистки: как это все тогда происходило? С нею был Жан-Марк, он и нес чемодан. Когда они зашли в заведение, она это прекрасно помнит, Жан-Марк рассмешил хозяйку. Ее корреспондент напоминает об этой подробности. Но как он ухитрился услышать этот

смех? Он утверждает, что следил за нею с улицы. Но кто мог это сделать так, что сама она не заметила никого? Ни Барро. Ни попрошайку. Это мог сделать лишь тот, с кем она вошла в химчистку. И тогда фразу об «искусственном продолжении Вашей жизни», которую она восприняла как неуклюжий выпад в адрес Жан-Марка, можно считать свидетельством кокетливого нарциссизма самого Жан-Марка. Так оно и есть: он выдал себя своим нарциссизмом, плаксивым нарциссизмом, суть которого проста: как только на твоем пути окажется другой мужчина, я превращусь в бесполезный довесок к твоей жизни. Потом она вспомнила курьезную фразу, произнесенную под конец их ужина в ресторане. Он сказал ей, что, возможно, обманулся в ее подлинности. Что, возможно, она — это вовсе не она! «Я хожу за Вами по пятам», — написал он ей в первом письме. Стало быть, он и ходит за нею по пятам, он и есть шпион. Он учиняет ей проверки, ставит на ней эксперименты, чтобы доказать себе, что она вовсе не та, за которую он ее принимает! Пишет ей письма от лица какого-то незнакомца, а потом наблюдает за ее поведением, залезает в ее шкаф, ворошит ее лифчики!

Но с какой целью он все это делает?

Единственный ответ напрашивается сам собой: он хочет заманить ее в ловушку.

Но зачем ее заманивать в ловушку?

Чтобы избавиться от нее. От правды не уйдешь: он моложе ее, а она постарела. Сколько бы она ни старалась скрывать свои вспышки жара, она постарела, и от этого никуда не денешься. Он не способен сказать ей в лицо: ты старишься, а я молод. Он слишком мягок для этого, слишком деликатен. Но как только у него появится уверенность, что она ему изменяет, что она способна ему изменить, он бросит ее с той же легкостью, с той же холодностью, с какой вычеркнул из своей жизни своего старого друга Ф. Ее всегда ужасала в нем эта холодность, таящаяся под наигранной веселостью. Теперь ей понятно, что ее ужас был вещим.

## 30

Он вписал румянец Шанталь как заглавную буквицу в золотую книгу их любви. В первый раз они встретились среди многолюдья, в большом зале за длинным столом, уставленным бокалами с шампанским и тарелочками с поджаренными тостами, паштетами, ветчиной. Дело было в горном отеле, где он числился тогда инструктором по лыжам и в этом качестве был приглашен, по капризу случая и всего-то один-единственный раз, на небольшой коктейль, которым заканчивался каждый рабочий день какой-то там конференции. Ему представили участников, но так наспех и походя, что он не сумел запомнить их имена. Тогда они с Шанталь успели обменяться лишь несколькими словами в присутствии всех остальных. На следующий коктейль Жан-Марк явился безо всякого приглашения, только для того, чтобы увидеть ее еще разок. Заметив его, она покраснела. У нее покраснели не только щеки, но и шея, и то, что не скрывало декольте; она восхитительно залилась краской на глазах у всех присутствующих, покраснела из-за него и для него. Эта краска была ее признанием в любви,

эта краска решила все. Минут через тридцать они исхитрились остаться вдвоем в полутьме длинного коридора и, не обменявшись ни единым словом, принялись жадно целоваться.

Тот факт, что потом, в течение стольких лет, он больше не видел, как она краснеет, подтверждал исключительность этого румянца, который тогда, в далеком прошлом, горел как рубин, коему не было цены.

Потом она как-то раз обмолвилась ему, что на нее уже не оглядываются мужчины. Эти сами по себе пустячные слова обрели особое значение из-за краски, которая залила ее лицо. Он не мог остаться глухим к языку румянца, который был языком их любви и теперь, связанный с произнесенной ею фразой, прямо-таки вопиял о печали увядания. Вот почему он и написал ей, скрывшись под маской незнакомца: «Я хожу за Вами по пятам, Вы красивая, очень красивая».

Опустив первое письмо в почтовый ящик, он и не думал посылать ей другие. Он не строил никаких планов, не думал ни о каких последствиях, ему просто-напросто хотелось доставить ей удовольствие, немедленно, без малейшего отлагательства, избавить ее от гнетущего впечатления, будто на нее перестали оглядываться

мужчины. Он не пытался предвидеть ее ответные действия. А если бы наперекор всему и попытался это сделать, ему пришлось бы предположить, что она покажет ему письмо, сказав: «Посмотрика! Как бы там ни было, мужчины меня еще не забывают!» — и тогда со всей невинностью влюбленного он дополнил бы восторги незнакомца своими собственными похвалами. Но она письма ему не показала. Без финального аккорда эпизод оставался открытым. Видя, как она день за днем мучается безнадежностью, как ее томят мысли о смерти, он волей-неволей решил продолжать.

Сочиняя второе письмо, он твердил себе: я становлюсь Сирано де Бержераком; Сирано: человек, который под маской другого объясняется в любви любимой женщине; который, избавившись от собственного имени, переживает взрыв красноречия, внезапно вырвавшегося на свободу. Именно поэтому он и подписал письмо сигнатурой С. Д. Б. Это был шифр, понятный лишь ему самому. Тайная отметина его присутствия. С. Д. Б.: Сирано де Бержерак.

Превратившись в Сирано, он продолжал разыгрывать его роль. Догадываясь, что она перестала верить в свою неотразимость, он принялся расписывать для нее ее телесные прелести. Ничто

не было упущено — лицо, нос, глаза, шея, ноги, лишь бы только она вновь начала гордиться всем этим. Он с удовольствием отмечал, что теперь она уделяла больше внимания своему туалету, что она повеселела, но его успех имел и неприятную оборотную сторону: прежде она не любила носить ожерелье из розовых жемчужин, даже когда он просил ее об этом; теперь же без колебаний подчинилась чужой воле.

Жизнь Сирано немыслима без ревности. В тот день, когда он неожиданно зашел в спальню и увидел Шанталь возле бельевого шкафа, от него не укрылось ее замешательство. Он завел с нею разговор о глазном веке, притворившись, будто ничего не заметил; лишь на следующий день, оставшись дома один, он открыл шкаф и обнаружил под стопкой лифчиков два своих письма.

Тут он призадумался и еще раз спросил себя, отчего она их ему не показала; ответ напрашивался сам собой. Если мужчина пишет женщине любовные письма, значит, он готовит почву, чтобы затем попытаться ее соблазнить. И если женщина прячет эти письма, значит, ей подспудно хочется, чтобы ее сегодняшняя скрытность стала залогом завтрашнего приключения. Если она хранит их, значит, готова принять это будущее

приключение как настоящую любовь.

Он долго простоял перед открытым шкафом, а потом, всякий раз, опустив новое письмо в ящик, не забывал проверять, окажется ли оно на своем месте, под лифчиками.

## 31

Если бы Шанталь узнала, что Жан-Марк ей изменяет, это укололо бы ее, но не расходилось бы с тем, что она на худой конец могла бы от него ожидать. Совсем другое дело — этот шпионаж, эти сыскные эксперименты, которые он на ней ставил: они не увязывались с тем, что она о нем знала. Когда они познакомились, он не хотел ничего слышать о ее прошлой жизни. И она тут же примирилась с радикализмом этого отказа. У нее никогда не было от него никаких тайн, она умалчивала лишь о том, чего он сам не захотел бы услышать. И теперь не видела ни малейшей причины, из-за которой он ни с того ни с сего начал бы ее подозревать и следить за нею.

Внезапно она вспомнила фразу о карминной кардинальской мантии, от которой у нее голова пошла кругом, и ее охватил стыд: до чего же она оказалась восприимчива к образам, которыми первый встречный может задурить ей голову! Какой смешной она должна была ему показаться! Он загнал ее в клетку, словно какого-то кролика. А потом, тешась недоброй забавой, стал наблюдать за ее реакцией.

Но не ошибается ли она? Ведь она уже дважды обманывалась, думая, что уличила своего корреспондента.

Она не поленилась отыскать несколько старых писем Жан-Марка и сравнила их с посланиями С. Д. Б. Жан-Марк писал с легким наклоном вправо, почерк у него был сравнительно мелкий, а буквы незнакомца были куда крупнее и заваливались влево. Но именно эта бросающаяся в глаза несхожесть и выдавала подлог. Кто хочет скрыть свой собственный почерк, прежде всего меняет наклон и величину букв. Шанталь попробовала сравнить написание букв «ф», «а» и «о» у Жан-Марка и незнакомца. И убедилась, что, несмотря на различную величину, их начертание почти совпадало. Но, продолжая сравнивать их снова и снова, она лишилась первоначальной уверенности. Да что там говорить, она не графолог и не может быть уверена ни в чем.

Отобрав два письма — одно от Жан-Марка, второе от С. Д. Б., она положила их в сумочку. А что делать с остальными? Подыскать для них тайник понадежнее? Какая разница. Жан-Марк знает о них, ему известно и то, где она их хранит. Пусть думает, будто она и не подозревает о том, что находится под наблюдением. И она сложила письма

в шкаф точь-в-точь так, как они лежали раньше.

Потом она позвонила в дверь кабинета графологии. Молодой человек в темном костюме встретил ее и отвел по коридору в комнату, где за столом сидел здоровяк в одной рубашке, без пиджака. Провожатый прислонился к стене в дальнем углу комнаты, здоровяк поднялся и протянул ей руку.

Затем он снова уселся и пригласил ее сесть в кресло напротив. Она положила на стол письма Жан-Марка и С. Д. Б., и пока пыталась сбивчиво объяснить графологу, что именно ей нужно, он произнес весьма официальным тоном:

— Я могу произвести для вас психологический анализ человека, в подлинности существования которого вы не сомневаетесь. Но произвести психологический анализ фальсифицированного почерка — дело трудное.

— Я не нуждаюсь ни в каком психологическом анализе. Психология человека, написавшего эти письма, если он, как я предполагаю, и в самом деле написал их, мне достаточно известна.

— Если я правильно вас понял, вы желаете с достоверностью убедиться, что человек, написавший это письмо, — ваш любовник или муж — является тем же самым лицом, которое изме-

нило здесь свой почерк. Вы хотите его уличить.

— Это не совсем верно, — сказала она, смутившись.

— Не совсем, но почти. Но только дело в том, мадам, что я графолог-психолог, а не частный детектив, и с полицией дела не имею.

В комнате воцарилась тишина, которую не желал прервать ни один из двоих мужчин, поскольку ни один из них не испытывал к ней сострадания.

Она почувствовала, как из глубин ее существа вздымается жаркая волна, могучая, неукротимая, всеохватывающая; она покраснела, вспыхнула всем телом — с головы до ног; ей снова пришли на ум слова о карминной кардинальской мантии, потому что тело ее и впрямь облеклось в эту роскошную мантию, сотканную из языков пламени.

— Вы ошиблись адресом, мадам, — добавил человек за столом. — Мы здесь доносами не занимаемся.

Она услышала слово «доносы» — и ее огненная мантия мгновенно превратилась в позорное рубище. Она поднялась, чтобы забрать письма. Но не успела протянуть к ним руку, как молодой человек, встретивший ее у дверей, обогнул стол и, оказавшись рядом со здоровяком, принялся

внимательно разглядывать оба письма.

— Ну разумеется, это одно и то же лицо, — заключил он, а потом обратился к ней: — Посмотрите на это «т», посмотрите на это «г»!

И тут она сразу узнала его: этот молодой человек был тем самым гарсоном из нормандского городка, где она ожидала Жан-Марка. И едва узнала, как из глубин ее охваченного пламенем тела донесся ее собственный удивленный голос: «Да это же все неправда! Это бред, сущий бред, такого быть не может!»

Молодой человек поднял голову, посмотрел на нее (как бы желая показать ей, что она не ошиблась, узнав его) и произнес с улыбкой столь же вежливой, сколь и презрительной:

— Ну разумеется! Почерк один и тот же. Он только укрупнил его и наклонил влево.

Она не хотела больше ничего слышать, слово «доносы» отогнало от нее все остальные слова. Она чувствовала себя женщиной, явившейся в полицию с доносом на любимого и принесшей в качестве улики волос, найденный в постели. Забрав наконец свои письма и ни слова не говоря, она повернулась, чтобы уйти. И тут молодой человек снова переменил место: он оказался у двери и распахнул ее. Она была всего в нескольких шагах

от него, но это расстояние показалось ей бесконечным. Она была вся красная, она пылала, все плыло у нее перед глазами. Стоящий перед нею человек был нахально молод и нахально пялился на ее бедное тело. Ее бедное тело! Под взглядом молодого человека оно увядало прямо на глазах, ускоренным темпом, открыто и без утайки.

Ей казалось, что повторяется ситуация, которую она пережила в кафе на берегу моря в Нормандии, когда, все с той же похабной улыбочкой, он загородил ей проход к двери и она испугалась, что ей уже не выбраться оттуда. Она ожидала, что он разыграет с нею такой же номер и сейчас, но он вежливо застыл возле двери и пропустил ее; потом она неуверенной походкой пожилой женщины поплелась по коридору к выходу (его взгляд прямо-таки повис на ее взмокшей спине) и, лишь оказавшись на лестничной площадке, поняла, что ей удалось ускользнуть от страшной опасности.

## 32

Почему она ни с того ни с сего покраснела, когда они шли однажды вдвоем по улице, ни слова не говоря, видя вокруг только незнакомых прохожих? Это было необъяснимо; сбитый с толку, он не смог удержаться от вопроса:

— Ты покраснела! Почему ты покраснела?

Она ничего не ответила, и ему стало не по себе при мысли, что с нею что-то творится, а он не имеет об этом никакого понятия.

Но этот эпизод словно бы вновь разжег алую заглавную буквицу в золотой книге его любви, и тогда он написал ей письмо о карминной кардинальской мантии. Продолжая играть роль Сирано, он сумел совершить величайший свой подвиг: он околдовал ее. Он гордился своим письмом, своими чарами соблазнителя, но в то же время испытывал жесточайшие муки ревности. Он сотворил фантом другого мужчины и, сам того не желая, подверг Шанталь тесту на ее восприимчивость к чужим чарам.

Его теперешняя ревность была совсем не похожа на ту, что он испытывал в юности, когда воображение раздувало в нем мучительные

эротические фантазии; на сей раз она оказалась менее болезненной, но более разрушительной: потихоньку, исподволь она преображала любимую женщину в кажимость любимой женщины. И поскольку она уже не была для него существом, на которое можно положиться, он не мог нащупать ни единой устойчивой точки опоры в том лишенном ценностей хаосе, которым является мир. В присутствии Шанталь пресуществленной (или рассуществленной) им овладевало странное меланхолическое равнодушие. Равнодушие не только к ней, но и ко всему на свете. Если Шанталь — всего лишь кажимость, то кажимостью оказывалась и вся жизнь Жан-Марка.

Но в конце концов его любовь взяла верх над ревностью и сомнениями. Когда он склонялся над платяным шкафом, уставившись на стопку лифчиков, им внезапно и непонятно почему овладевало волнение. Волнение, порожденное вековечной привычкой женщин прятать письма среди своего белья, привычкой, благодаря которой Шанталь, единственная и неповторимая, занимала свое место в бесконечной череде себе подобных. Никогда он не стремился узнать о той части ее интимной жизни, которую ему не довелось с ней разделить. Так с какой же стати

он должен интересоваться ею теперь, да что там интересоваться — возмущаться?

К тому же, спросил он себя, что это такое — интимная тайна? Разве в ней заключена самая индивидуальная, самая оригинальная, самая таинственная суть человека? Разве интимные тайны превращают Шанталь в единственное на свете существо, которое он любит? Никоим образом. Тайной следует считать нечто самое общее, самое банальное, самое повторяющееся и присущее всем и каждому: тело и его потребности, его болезни и слабости, запоры, например, или месячные. И мы стыдливо скрываем эти интимные подробности не потому, что они такие уж личные, а, напротив, потому, что они жалчайшим образом безличны. Разве может он винить Шанталь за то, что она принадлежит к своему полу, походит на других женщин, носит лифчик , а вместе с ним — и психологию лифчика? Разве он сам не принадлежит к дурацкому разряду вечной мужественности? Оба они происходят из той жалкой мастерской, где их зрение было подпорчено беспорядочным движением глазного века, а в животе у них открыли крохотную зловонную фабричку. У каждого из них есть тело, в котором бедная душа занимает довольно скромное место.

Так не должны ли они взаимно прощать друг другу все это? Не должны ли закрывать глаза на всякие глупые мелочи, которые они прячут в глубине своих тайников? Охваченный безмерным состраданием и желая подвести черту подо всей этой историей, он решил написать ей последнее письмо.

## 33

Склонившись над листком бумаги, он снова думает о том, что Сирано, которым он был (и еще остается — в последний раз), называл древом возможностей. Древо возможностей: жизнь в том виде, в каком она предстает перед удивленным взглядом человека, переступающего порог зрелости: пышная крона, полная поющих пчел. И ему кажется понятным, почему она так и не показала ему письма: ей хотелось слышать шепот дерева в одиночку, без него, ибо он, Жан-Марк, воплощал в себе утерю всех возможностей, выжимку (пусть даже удачную) собственной жизни, после которой остается одна-единственная возможность. Она не могла заговоритъ с ним об этих письмах, потому что такое признание означало бы (для нее самой и для него), что ее вовсе не интересуют возможности, предлагаемые в этих письмах, что она заранее отрекается от изображенного в них волшебного древа. Может ли он ставить ей это в вину? Ведь в конечном счете он сам пожелал, чтобы она услышала музыку певучей кроны. И она повела себя именно так, как ему хотелось. Она подчинилась ему.

Склонившись над листком, он сказал себе: нужно, чтобы отзвук этой музыки не умолкал в душе Шанталь, даже если истории с письмами придет конец. И он написал ей, что внезапная необходимость вынуждает его к отъезду. Потом уточнил свое утверждение: «В самом ли деле этот отъезд можно считать внезапным, или я писал свои письма именно потому, что знал: они останутся без продолжения? Быть может, уверенность в скором отъезде и позволила мне говорить с Вами с предельной откровенностью?»

Отъезд. Да, это единственная возможность развязки, вот только куда ехать? Он погрузился в размышления. Не упоминать о месте назначения? Это отдавало бы дешевой романтической таинственностью. Или невежливой уклончивостью. Его жизнь, разумеется, должна оставаться в тени, поэтому он не должен раскрывать перед нею причины отъезда, ведь по ним можно догадаться о воображаемой личности корреспондента, о его профессии например. И однако, было бы естественней сказать, куда он отправляется. Куда-нибудь в другой французский город? Нет, это недостаточный повод для прекращения переписки. Нужно двинуться подальше. В Нью-Йорк? В Мексику? В Японию? Это было бы довольно

подозрительным. Следует придумать какой-нибудь иностранный город, который был бы в то же время близким, банальным. Лондон! Ну конечно же; это решение показалось ему столь логичным, столь естественным, что он с улыбкой подумал: я и в самом деле не могу отправиться никуда, кроме Лондона. И тут же спросил себя: отчего это Лондон кажется мне таким естественным? В голове мелькнуло воспоминание о человеке из Лондона, над которым они так часто подтрунивали вместе с Шанталь, об этом бабнике, оставившем ей свою визитную карточку. Англичанин, британец, которого Жан-Марк прозвал Британиком. Неплохо, совсем неплохо: Лондон, город похотливых грез. Именно туда и двинется неведомый поклонник, чтобы раствориться там в толпе распутников, волокит, наркоманов, эротоманов, извращенцев, блудодеев: там он и исчезнет навсегда.

И еще он подумал: слово «Лондон» останется в его письме чем-то вроде подписи, вроде едва уловимого намека на их беседы с Шанталь. Молчком посмеялся над самим собой: он хочет остаться неизвестным, неразгаданным, ибо этого требуют правила игры. И в то же время желание прямо противоположного свойства, желание совершенно неоправданное и не имеющее оправданий,

иррациональное, тайное и уж конечно же глупое побуждало его не проходить совершенно незамеченным, оставить какой-нибудь знак, скрыть где-нибудь шифрованную сигнатуру, с помощью которой некий неведомый и невероятно проницательный изыскатель смог бы установить его личность.

Спускаясь по лестнице, чтобы бросить письмо в ящик, он услышал чьи-то крикливые голоса. А сойдя вниз, увидел женщину с тремя детьми, стоявшую перед табло со звонками. Направляясь к ящикам, висевшим напротив, он прошел мимо этой группы. А когда обернулся, увидел, что женщина нажимает на кнопку, рядом с которой значатся имена Шанталь и его самого.

— Вы кого-то ищете? — спросил он.

Женщина назвала ему фамилию.

— Это я и есть!

Она сделала шаг назад и воззрилась на него с подчеркнутым восторгом:

— Так это вы! Как я рада с вами познакомиться! Я — золовка Шанталь!

## 34

Он смутился; ему ничего не оставалось, кроме как пригласить их подняться.

— Я не хочу вам мешать, — объявила золовка, едва они вошли в квартиру.

— Вы нисколько мне не мешаете. К тому же Шанталь скоро подойдет.

Золовка начала распинаться, время от времени поглядывая на детей, которые вели себя тише воды, ниже травы: бессловесные, робкие, почти забитые.

— Я счастлива, что Шанталь наконец-то их увидит! — воскликнула она, гладя одного из ребятишек по головке. — Она их даже не знает, они родились после ее ухода. Она так любила детей. У нас на вилле от них проходу не было. Ее муж был довольно гнусный тип, хотя я и не должна так говорить о собственном брате, но он женился во второй раз и с тех пор у нас не появляется. — И добавила со смехом: — По правде сказать, я всегда предпочитала Шанталь ее мужу!

Она снова сделала шаг назад и смерила Жан-Марка взглядом столь же восхищенным, сколь и вызывающим:

— Наконец-то она выбрала настоящего мужчину! Я затем и приехала, чтобы сказать вам: вы будете у нас желанным гостем. Буду вам очень признательна, если вы навестите нас вместе с Шанталь. Наш дом — это ваш дом. Запомните.

— Спасибо.

— Вы ростом под потолок, ах, как мне это нравится! А мой брат ниже ростом, чем Шанталь. Мне всегда казалось, что она ему приходится не женой, а мамашей. Она звала его «моя маленькая мышка», нет, вы только подумайте, она дала ему прозвище женского рода! Я всегда представляла, — прибавила она, давясь от смеха, — как Шанталь держит его на руках и баюкает, напевая: «Моя маленькая мышка, моя маленькая мышка!»

Она прошлась по комнате, пританцовывая и делая вид, будто держит на руках ребенка, не переставая повторять: «Моя маленькая мышка, моя маленькая мышка!» Представление слегка затянулось, словно она требовала у Жан-Марка вознаградить ее улыбкой. Он через силу улыбнулся и вообразил себе Шанталь рядом с мужчиной, которого она называет «маленькой мышкой». Золовка все продолжала свою болтовню, а он никак не мог избавиться от картины, вызывающей

у него дрожь омерзения: Шанталь, называющая мужчину (ниже ее ростом) «моей маленькой мышкой».

Из соседней комнаты донесся какой-то шум. Жан-Марк сообразил, что детей рядом с ними уже не было. Настоящая коварная стратегия захватчиков: пользуясь собственной неприметностью, они проскользнули в комнату Шанталь, где сначала вели себя тишком, словно секретная армия, а потом, прикрыв за собою дверь, разбушевались вовсю, как настоящие победители.

Жан-Марк забеспокоился, но золовка успокоила его:

— Ничего страшного. Это же дети. Пусть себе играют.

— Ну конечно, — сказал Жан-Марк, — я вижу, что они играют, — и направился в шумную комнату. Золовка оказалась проворнее. Она распахнула дверь: дети превратили крутящееся кресло в карусель: один из них лежал животом на сиденье, а двое других криками выражали свой восторг.

— Они играют, говорю же я вам, — повторила золовка, прикрывая дверь. И подмигнула ему с заговорщицким видом: — Дети — они есть дети. Чего вы от них хотите? Как жаль, что Шанталь

нет дома. Мне бы так хотелось, чтобы она посмотрела на них.

Шум в соседней комнате превратился в настоящий содом, но у Жан-Марка уже не было никакой охоты утихомиривать детвору. Перед глазами у него стояла Шанталь, которая среди семейной сутолоки качает на руках коротышку мужа, называя его «своей маленькой мышкой». К этой картинке присоединилась другая: Шанталь, ревниво хранящая письма от неизвестного поклонника, чтобы не погубить в зародыше возможность новых приключений. Эта Шанталь была не похожа на самое себя; эта Шанталь была не той, которую он любит; эта Шанталь была кажимостью. Странное дело: ему захотелось рвать и метать, он даже радовался детскому шуму и гаму. Ему хотелось, чтобы они разнесли вдребезги всю комнату, весь этот крохотный мирок, который он так любил и который тоже стал теперь кажимостью.

— Мой братец, — продолжала между тем золовка, — был слишком хил для нее, вы меня понимаете, хил, — она хихикнула, — во всех смыслах этого слова. — Она хихикнула еще раз. — Кстати, не могу ли я дать вам один совет?

— Если вам будет угодно.

— Совет весьма интимный!

Она приложила рот к его уху и принялась что-то говорить, но ее движущиеся губы производили столько шума, что разобрать слова было невозможно. Отодвинувшись, она хихикнула:

— Ну и что вы об этом скажете?

Он ничего не понял, но из вежливости тоже рассмеялся.

— Стало быть, это вас позабавило, — сказала золовка и сообщила: — Я могла бы вам рассказать кучу таких историй. У нас, знаете ли, нет секретов друг от дружки. Если у вас с нею возникнут проблемы, вы мне только скажите, и я мигом все улажу. — Она хихикнула: — Уж мне ли не знать, как надо с нею управляться!

А Жан-Марк думал: «Шанталь всегда отзывалась о семье золовки с неприязнью. Отчего же эта золовка проявляет к ней такую откровенную симпатию? Следует ли из этого, что Шанталь на самом деле их всех ненавидела? Но как можно ненавидеть и в то же время легко приспосабливаться к тому, что ненавидишь?»

В соседней комнате буйствовали дети, и золовка, махнув рукой в их сторону, улыбнулась:

— Вас, как я посмотрю, все это вовсе не беспокоит. В этом смысле вы похожи на меня. Вы знаете,

я не могу назвать себя женщиной строгих правил, я люблю, чтобы все вокруг ходило ходуном, крутилось, вертелось, горланило во всю глотку, короче говоря, я люблю жизнь!

Перебарывая детский крик, Жан-Марк продолжал думать о своем: неужели так уж восхитительна легкость, с которой она приспосабливается к тому, что ненавидит? Неужели двуликость — это и в самом деле достоинство? Он оживился при мысли о том, что в своем рекламном агентстве она исполняет роль самозванки, шпионки, замаскированного врага, потенциальной террористки. Хотя нет, террористкой ее не назовешь; если уж пользоваться политическими терминами, она скорее коллаборационистка. Коллаборационистка, пошедшая в услужение ненавистной власти, не отождествляя себя с нею, работающая на нее, но держащаяся особняком. Когда-нибудь, выступая на суде, она скажет в свою защиту, что у нее было два лица.

## 35

Шанталь остановилась на пороге и простояла там добрую минуту, потому что ни Жан-Марк, ни золовка ее не замечали. Она внимала трубному гласу, который ей давно уже не приходилось слышать: «В этом смысле вы похожи на меня. Вы знаете, я не могу назвать себя женщиной строгих правил, я люблю, чтобы все вокруг ходило ходуном, крутилось, вертелось, горланило во всю глотку, короче говоря, я люблю жизнь!» Наконец золовка увидела ее:

— Шанталь, — завопила она, — какой сюрприз, ты не находишь? — и бросилась обнимать ее. Шанталь почувствовала в уголках своих губ слюну изо рта золовки.

Замешательство, вызванное появлением Шанталь, вскоре было прервано вторжением маленькой девчушки.

— А это наша крошка Коринна, — сообщила золовка, обращаясь к Шанталь, а потом велела ребенку: — Поздоровайся со своей тетей! — но ребенок не обратил ни малейшего внимания на Шанталь и заявил, что хочет пи́сать. Золовка, без малейших колебаний, словно у себя дома, вышла

с Коринной в коридор и скрылась в туалете.

— Господи, — простонала Шанталь, пользуясь отсутствием золовки, — как же это они сумели нас выследить?

Жан-Марк пожал плечами. Золовка оставила открытыми двери в коридор и в туалет, так что особенно разговориться не было возможности. Они слышали, как струится моча в унитаз; этот звук смешивался с голосом золовки, то сообщавшей им подробности о своей семье, то одергивавшей писавшую девочку.

Шанталь вспоминала: однажды, проводя лето на вилле, она заперлась в туалете; внезапно кто-то дернул за ручку. Она терпеть не могла никаких переговоров через дверь уборной и поэтому промолчала. «Это Шанталь там засела», — донесся из другого конца дома чей-то голос, пытавшийся утихомирить нетерпеливого страдальца. Несмотря на это сообщение, страдалец еще несколько раз подергал за ручку, словно протестуя против молчания Шанталь.

Журчание мочи было прервано шумом спускаемой воды, а Шанталь все не могла отвязаться от мыслей об огромной бетонной вилле, где каждый звук разносился таким образом, что нельзя было догадаться, откуда он исходит. Она привыкла

слышать стоны золовки при совокуплении (их ненужная звучность отдавала провокацией не столько сексуальной, сколько моральной: демонстративным отказом от любых секретов); однажды, когда до нее снова донеслись любовные вздохи, она не сразу поняла, что это хрипло дышит в другом конце гулкого дома старая бабушка, страдавшая астмой.

Золовка вернулась в гостиную. «Ступай отсюда», — велела она Коринне, которая тут же рванулась в соседнюю комнату к другим детям. Потом обратилась к Жан-Марку:

— Я не виню Шанталь за то, что она бросила моего брата. Быть может, ей нужно было сделать это и пораньше. Я виню ее за то, что она совсем нас забыла. — Тут она обернулась к Шанталь: — Как ни крути, Шанталь, но мы — изрядный кусок твоей жизни. Ты не можешь отвергнуть нас, стереть из памяти, изменить свое прошлое! Твое прошлое как было, так и есть. Ты не можешь отрицать, что была счастлива с нами. Я приехала, чтобы сказать твоему новому спутнику жизни, что вы оба всегда будете у меня желанными гостями!

Шанталь слушала ее болтовню и думала, что она слишком долго прожила в этой семье, не выказывая к ней неприязни, а посему золовка могла

справедливо обижаться, что после развода она порвала с ними все связи. Почему, спрашивается, она была такой любезной и податливой, пока длился ее брак? Ей и самой непонятно было, как можно назвать ее тогдашнее поведение. Покорность? Лицемерие? Безразличие? Дисциплина?

Пока ее сын был жив, она готова была принять эту жизнь в коллективе, под неусыпным надзором, с коллективной нечистоплотностью, с обязательным оголением возле бассейна, с невинным промискуитетом, позволявшим ей догадываться по едва заметным и тем не менее убедительным следам, кто пользовался туалетом перед ней. Нравилось ли ей все это? Нет, оно вызывало у нее отвращение, но то было отвращение ровное, спокойное, молчаливое, покорное, почти миролюбивое, чуть насмешливое, но нисколько не воинственное. Если бы ее ребенок не умер, она прожила бы так до конца своих дней.

Возня в комнате Шанталь стала слышней. «Потише», — крикнула золовка, но ее голос, скорее веселый, чем раздраженный, не только не утихомирил разбушевавшуюся свору детей, а скорее присоединился к ней.

Потерявшая терпение Шанталь врывается в комнату. Детвора беснуется на креслах, но Шан-

таль не замечает сорванцов; словно окаменев, она смотрит на шкаф; его дверца распахнута настежь; а перед ним, на полу, раскиданы ее лифчики, трусики — и письма. Лишь через несколько секунд она замечает, что старшая девочка обмотала один из лифчиков вокруг головы: на макушке у нее торчит что-то вроде островерхой казацкой шапки.

— Нет, вы посмотрите только! — Зашлась от смеха золовка, дружески обнимая Жан-Марка за плечи. — Посмотрите, посмотрите! Они устроили настоящий бал-маскарад!

Шанталь глядит на раскиданные по полу письма. Кровь приливает у нее к щекам. Всего какой-нибудь час назад она еле выбралась из кабинета графолога, где ей разве что не плюнули в лицо, а она, покраснев с ног до головы, не сумела дать им отпор. Теперь она чувствует, что ей осточертело считать себя виноватой: чего ей стыдиться смешного секрета, заключенного в этих письмах: теперь они стали для нее символом двуличности Жан-Марка, его вероломства, его измены.

До золовки дошла ледяная реакция Шанталь. Не переставая болтать и хохотать, она нагнулась к девочке, размотала лифчик и присела на кор-

точки, чтобы собрать остальное белье.

— Нет-нет, прошу тебя, оставь, — строгим тоном сказала Шанталь.

— Как хочешь, как хочешь, я для твоего же блага старалась.

— Знаю, — сказала Шанталь, глядя на золовку, вновь положившую руку на плечо Жан-Марка; ей показалось, что они отлично подходят друг другу, составляют прекрасную пару, пару соглядатаев, пару шпионов. Нет, никакого желания закрывать дверцу шкафа она не испытывает. Она оставляет ее нараспашку, как свидетельство разграбления. Она говорит себе: это моя квартира, и мне страшно хочется остаться здесь в одиночестве, в гордом, самовластном одиночестве. Потом произносит вслух: — Эта квартира моя, и никто не имеет права открывать мои шкафы и рыться в моем белье. Никто. Я повторяю: никто.

Последнее слово относилось скорее к Жан-Марку, чем к золовке. Но чтобы как-нибудь не выдать незваной гостье свою тайну, Шанталь тут же без обиняков объявила ей:

— Прошу тебя покинуть квартиру.

— Никто и не собирался рыться в твоем белье, — отпарировала золовка, переходя к обороне.

Вместо ответа Шанталь кивком головы указала

ей на раскрытый шкаф, на раскиданные по полу лифчики, трусики и письма.

— Господи, дети просто играли!— сказала золовка, и дети, почуявшие в воздухе угрозу, мгновенно смолкли, проявив немалый дипломатический такт.

— Прошу тебя, — повторила Шанталь, указав ей на дверь.

Один из ребят держал яблоко, взятое без спросу с блюда на столе.

— Положи на место,— велела ему Шанталь.

— Это чистый бред! — заорала золовка.

— Положи яблоко. Кто тебе разрешил его брать?

— Пожалела яблоко ребенку: это чистый бред!

Ребенок положил яблоко на блюдо, золовка взяла его за руку и вместе со всеми остальными ретировалась.

## 36

Она остается наедине с Жан-Марком; она не видит никакой разницы между ним и теми, кого ей удалось выпроводить.

— Я чуть не забыла, — сказала она, — что когда-то приобрела эту квартиру, чтобы наконец почувствовать себя на свободе, чтобы за мною никто не смел шпионить, чтобы иметь возможность держать свои вещи там, где мне заблагорассудится, и чтобы быть уверенной в том, что они останутся лежать там, куда я их положила.

— Я тебе не раз говорил, что мое место — рядом с тем попрошайкой, а не с тобой. Я на задворках этого мира. Что же касается тебя, ты расположилась в центре.

— Ты устроился на роскошных задворках, которые к тому же ничего тебе не стоят.

— Я всегда готов покинуть мои роскошные задворки. А вот ты никогда не откажешься от своей цитадели конформизма, где обосновалась вместе со всеми твоими многочисленными лицами.

## 37

Минутой раньше Жан-Марк хотел все объяснить, признаться в своей мистификации, но этот обмен четырьмя репликами сделал любой диалог невозможным. Ему нечего больше сказать, ведь квартира и в самом деле принадлежит ей, а не ему; она ему заявила, что он устроился на прекрасных задворках, которые ему ничего не стоят, и это тоже правда: он зарабатывает впятеро меньше ее, и все их отношения строятся на негласном договоре, что об этом неравенстве они никогда не обмолвятся.

Они стояли лицом друг к другу, а между ними был стол. Она достала из сумочки конверт, распечатала и вытащила письмо: то самое, которое он только что написал ей, с тех пор не прошло и часа. Она и не подумала прятать его, напротив, она выставила его напоказ. И глазом не моргнув, она прочла на виду у него письмо, которое ей следовало бы держать втайне. Потом убрала его в сумочку, смерила Жан-Марка быстрым и почти безразличным взглядом и, не сказав ни слова, ушла к себе в комнату.

А он продолжал крутить в голове ее слова:

«Никто не имеет права открывать мои шкафы и рыться в моем белье». Стало быть, она, бог знает как, проведала, что ему известны и эти письма, и тайник, где они хранятся. Она хочет показать ему, что обо всем этом знает и что ей это совершенно безразлично. Что она решила жить, как ей заблагорассудится, не обращая на него никакого внимания. Что впредь готова читать адресованные ей любовные письма в его присутствии. Этим безразличием она как бы предваряет отсутствие Жан-Марка. Его уже как бы нет в квартире. Она его уже выдворила.

Она долго оставалась у себя в комнате. Он слышал яростный вой пылесоса, наводящего порядок после разгрома, учиненного непрошеными гостями. Потом она пошла на кухню. А еще через десять минут позвала его. Они сели поужинать. И впервые за все время их совместной жизни ели молчком. Старались поскорее проглотить пищу, вкуса которой даже не замечали. Потом она снова удалилась к себе. Не зная, чем заняться (и неспособный заняться ничем), он напялил пижаму и улегся на широкое ложе, где обычно они были вдвоем. Время текло, а сон все не приходил. В конце концов он поднялся и приложил ухо к двери. И услышал ее ровное дыхание. Этот

спокойный сон, эта легкость, с которой она заснула, оказались для него сущей пыткой. Он долго простоял так, приложив ухо к двери, и все думал, что она оказалась куда менее уязвимой, чем он предполагал. И что, быть может, он ошибся, когда-то приняв ее за более слабую сторону, а себя — за более сильную.

А на самом деле, кто из них сильнее? Когда они оба пребывали на земле любви, сильнее, наверное, был он. Но вот эта земля обрушилась у них под ногами, и теперь ничего не оставалось, как признать, что она сильна, а он слаб.

## 38

Лежа на своей узенькой постели, она спала вовсе не так уж мирно, как ему казалось; сон то и дело прерывался и был полон сновидениями неприятными и бессвязными, нелепыми, никчемными и удручающе эротическими. Просыпаясь после такого рода кошмаров, она всякий раз испытывала замешательство. Вот, думалось ей, и все жизненные тайны женщины, любой женщины: ночной промискуитет, делающий сомнительными все клятвы верности, всякую чистоту, всякую невинность. В наше время всему этому не придают особенного значения, но Шанталь представляла себе принцессу Клевскую, или целомудренную Виргинию Бернардена де Сен-Пьера, или святую Терезу Авильскую, или, поближе к нашим дням, Мать Терезу, которая в поте лица носится по свету ради добрых дел, — она представляла, как все они выныривают из своих ночей, словно из клоак, полных всевозможных пороков — несказуемых, невероятных, идиотских, чтобы при свете дня снова стать непорочными и добродетельными. Такой была и ее ночь: она много раз просыпалась, а снилось ей

одно и то же: дикие оргии с мужчинами, которых она знать не знала и к которым не испытывала ничего, кроме отвращения.

Ранним утром, не желая больше предаваться этим гнусным наслаждениям, она встала, оделась и сложила в небольшой чемоданчик кое-какие вещи, необходимые в недолгой поездке. Окончательно собравшись, она увидела Жан-Марка: он стоял в пижаме на пороге своей комнаты.

— Куда ты? — спросил он.

— В Лондон.

— Что? В Лондон? Почему в Лондон?

Она с расстановкой ответила:

— Ты отлично знаешь, почему в Лондон.

Жан-Марк покраснел.

Она повторила:

— Ты и сам знаешь не хуже меня, — и посмотрела ему прямо в глаза. До чего же ей было приятно видеть, что на сей раз не она, а он побагровел, как вареный рак!

Красный до ушей, он промямлил:

— Нет, я не знаю, почему в Лондон.

Она сделала вид, что не замечает краски на его лице:

— У нас конференция в Лондоне, — сказала она. — Я только вчера вечером узнала. Сам по-

нимаешь, у меня не было ни возможности, ни желания тебе об этом сообщать.

Она была убеждена, что он ей не верит, и ликовала оттого, что ее ложь оказалась такой откровенной, такой бесстыдной, наглой и враждебной.

— Я вызвала такси. Мне пора. Машина должна подойти с минуты на минуту.

Она улыбнулась ему вместо того, чтобы сказать «до свиданья» или «прощай». И в последний момент, словно помимо собственного желания, словно этот жест вырвался у нее сам собой, провела ладонью по щеке Жан-Марка; этот жест был мимолетным, мгновенным, потом она повернулась и вышла.

## 39

Он еще ощущал на щеке прикосновение ее руки, точнее — кончиков трех пальцев, и это было ощущение холода, будто его задела лягушка. Ее ласки всегда были неторопливыми, спокойными, ему казалось, что они как бы растягивают время. А это беглое прикосновение трех пальцев к щеке было не лаской, а напоминанием. Словно ее уносило бурей, смывало волной, и у нее хватило времени только на краткий жест, означавший: «И все-таки я была рядом с тобой! Я прошла рядом! И что бы ни случилось в грядущем, не забывай меня!»

Он машинально одевался, вспоминая о том, что они говорили по поводу Лондона. «Почему в Лондон? — спросил он у нее, и она ответила: — Ты отлично знаешь, почему в Лондон». То был внятный намек на сообщение об отъезде из его последнего письма. Это «ты отлично знаешь» значило: ты знаешь о письме. Но это письмо, которое она только что достала из ящика, не могло быть известно никому, кроме отправителя и ее самой. Иначе говоря, Шанталь сорвала маску с бедного Сирано и дала ему понять: ты сам пригласил меня

в Лондон, вот я и приняла приглашение.

Но если она догадалась (господи боже, как же ей удалось догадаться?), что он и есть сочинитель этих писем, почему она обошлась с ним так плохо? Почему она так жестока? Если она догадалась обо всем, почему бы ей не догадаться и о причинах этого обмана? В чем она его подозревает? И за всего этими вопросами маячила уверенность: он ее не понимает. Впрочем, она уж тем более ничего не поняла. Их мысли разошлись в разные стороны, и теперь ему казалось, что они больше никогда не сойдутся.

Терзавшая его боль и не думала униматься, она только бередила душевную рану, побуждала выставлять ее напоказ, как выставляют пережитую обиду. Ему не хватало терпения дождаться возвращения Шанталь, чтобы объяснить ей причины недоразумения. В душе он понимал, что это было бы единственно разумной линией поведения, но боль не желает слушать доводов разума, у нее свой собственный разум, который никак не назовешь разумным. И его неразумному разуму хотелось, чтобы по приезде Шанталь обнаружила квартиру пустой, без него, такой, какой, по ее словам, желала ее видеть она сама, — чтобы жить там одной и не подвергаться никакому шпиона-

жу. Он сунул в карман несколько банкнот, все свое состояние, и чуть помедлил, раздумывая, брать ли с собой ключи. В конце концов оставил их на полочке у двери. Увидев их, она сообразит, что он больше не вернется. Лишь пара-тройка пиджаков и рубашек в платяном шкафу да несколько книг на стеллажах останутся здесь на память о нем.

Он вышел, совершенно не представляя, что же ему теперь делать. Главное — бросить эту квартиру, которую он больше не может называтъ своей. Бросить — а уж потом решать, куда двигаться дальше. Только оказавшись на улице, он заставит себя подумать об этом.

Но внизу его охватило странное ощущение — он словно бы очутился вне реальности. Пришлось остановиться посреди тротуара, чтобы найти в себе силы поразмыслить. Куда же податься? Мысли были совершенно бессвязные: Перигор, где живет часть его крестьянского семейства, — там он всегда мог рассчитывать на радушную встречу; какая-нибудь дешевенькая гостиничка в Париже. Пока он размышлял, рядом, у красного огня светофора, остановилось такси. Он поднял руку.

## 40

Никакое такси, разумеется, не ждало Шанталь на улице, и у нее не было ни малейшего понятия, куда идти дальше. Ее решение было чистейшей импровизацией, вызванной потрясением, которое она была не в силах перебороть. Сейчас ей хотелось только одного: не видеть Жан-Марка хотя бы сутки. Она подумала о гостиничном номере здесь, в Париже, но эта идея тут же показалась ей идиотской: что она будет делать целый день? Гулять по улицам, дышать бензинной гарью? Торчать в номере? Там тоже заняться нечем. Потом ей пришло в голову взять машину и поехать за город, все равно куда, подыскать там спокойное местечко, пожить денек-другой. Но куда?

Сама не зная как, она оказалась рядом с автобусной остановкой. Нужно бы сесть в первый попавшийся и доехать до самого конца. Подошел автобус, его маршрут лежал через Северный вокзал. Как раз оттуда идут поезда на Лондон.

Она чувствовала, что ее влечет стечение обстоятельств, и старалась внушить себе, что к ней пришла на подмогу какая-то добрая фея. Лондон: она объявила Жан-Марку, что едет туда лишь

для того, чтобы он знал, что разоблачен. Сейчас ей в голову пришла другая мысль: возможно, Жан-Марк принял это заявление всерьез; в таком случае не исключено, что он будет искать ее на вокзале. К этой мысли тотчас пристроилась другая, куда более тихая, еле слышная, будто песенка крохотной пичужки: если Жан-Марк объявится там, всему этому забавному недоразумению придет конец. Мысль была словно ласка, но ласка оказалась слишком мимолетной, потому что сразу же вслед за тем она снова настроила себя против него и отринула все идеи о примирении.

Но куда же ей все-таки деться и что делать? А что, если и вправду махнуть в Лондон? Позволить своей лжи материализоваться? Она вспомнила, что в записной книжке у нее до сих пор сохранился адрес Британика. Британик: а сколько ему может быть лет? Ей было ясно, что встреча с ним маловероятна. Что с того? Тем лучше. Она приедет в Лондон, прогуляется, снимет номер в гостинице, а завтра вернется в Париж.

Потом эта мысль разонравилась ей: уходя из дому, она рассчитывала вновь обрести независимость, а на самом деле позволяет манипулировать собой какой-то неведомой и бесконтрольной силе. Решение отправиться в Лондон, подсказанное

кучей нелепых случайностей, показалось ей теперь чистым безумием. Благоразумно ли думать, что этот заговор совпадений работает на нее? С какой стати считать его вмешательством доброй феи? А что, если это фея злая, вознамерившаяся ее погубить? И Шанталь дала себе обещание: когда автобус остановится у Северного вокзала, она не двинется с места; она поедет дальше.

Но когда автобус и впрямь остановился, она с удивлением обнаружила, что выходит из него. И, как заколдованная, направляется к зданию вокзала.

Оказавшись в необъятном помещении, она увидела мраморную лестницу, ведущую вверх, в зал ожидания для пассажиров, едущих в Лондон. Она захотела посмотреть расписание, но не успела этого сделать, так как услышала свое имя, сопровождаемое взрывом хохота. Остановилась — и заметила своих сотрудников, столпившихся на лестнице. Когда они поняли, что она их засекла, хохот стал еще громче. Они вели себя как школьники, которым удалась озорная выходка, потрясающий театральный номер.

— Уж мы-то знаем, что нужно сделать, чтобы ты поехала с нами! Если бы ты пронюхала, что мы здесь, ты, как всегда, придумала бы какую-нибудь

отговорку! Индивидуалистка чертова! — и они снова зашлись от хохота.

Шанталь было известно, что Леруа планирует конференцию в Лондоне, но она должна была состояться только через три недели. Как же случилось, что все они оказались здесь именно сегодня? В который раз ее посетило странное чувство, что все происходящее нереально, не может быть реальным. Но это чувство изумления тут же сменилось другим: вопреки всему, что она могла бы предположить, она чувствовала себя по-настоящему счастливой в толпе коллег, была искренне благодарна им за то, что они приготовили ей такой сюрприз.

На лестнице молоденькая сослуживица подхватила ее под руку, и тут Шанталь сказала себе, что Жан-Марк только и делал, что отвлекал ее от жизни, которая должна была быть ее настоящей жизнью. В ушах звучал его голос: «Ты расположилась в центре». И еще: «Ты обосновалась в цитадели конформизма». Теперь она может ему ответить: «Да. И ты не помешаешь мне там остаться».

Молоденькая коллега, все еще держа Шанталь под ручку, потащила ее в толпе пассажиров к полицейскому посту возле другой лестницы, что

вела вниз, к перрону. А она, словно в каком-то бреду, продолжала беззвучный спор с Жан-Марком: «Какой судья постановил, что конформизм — это зло, а нонконформизм — благо? Сообразовыватъся с другими — значит приближаться к ним. Разве нельзя считать конформизм великим местом встреч, где все сливается воедино, где жизнь наиболее насыщенна, наиболее кипуча?»

С высоты лестницы она увидела лондонский поезд, современный и элегантный, и еще раз сказала себе: «На счастье или на горе мы родимся на этой земле, лучше всего провести земную жизнь так, как я провожу ее сейчас — увлекаемая вперед веселой и шумной толпой».

## 41

Усевшись в такси, он сказал: «На Северный!» — и тут его озарило: он может съехать с квартиры, может бросить ключи в Сену, но оторваться от нее у него нет сил. Искать ее на вокзале — это, конечно, дело безнадежное, но лондонский поезд был единственным указателем, который она ему оставила, и Жан-Марк был не в состоянии им пренебречь, сколь бы ничтожной ни была вероятность того, что он направит его на верный путь.

Когда он приехал на вокзал, лондонский поезд уже стоял у перрона. Прыгая через несколько ступенек, он взбежал по лестнице и купил билет; большинство пассажиров уже заняли свои места; на тщательно охраняемую платформу он сошел последним; вдоль поезда прохаживались полицейские с овчарками, обученными вынюхивать взрывчатку; он поднялся в вагон, битком набитый японцами с фотоаппаратами на груди; отыскал свое место и сел.

Тут-то ему и бросилась в глаза вся абсурдность его поведения. Он находился в поезде, в котором, по всей вероятности, не было той, которую он искал. Через три часа он окажется в Лондоне, не

ведая, зачем там оказался; денег у него было в обрез: только-только хватит на обратную дорогу. Потерянный, он поднялся и вышел на перрон, движимый смутным искушением вернуться домой. Но как войдешь в квартиру без ключей? Ведь он оставил их на полочке у двери. Малость опомнившись, он понял, что этот жест был всего лишь сентиментальной комедией, которую он разыграл сам с собой: у привратницы внизу есть дубликаты ключей и она, естественно, даст ему свои. Он нерешительно посмотрел в конец перрона и увидел, что все выходы уже закрыты. Спросил у полицейского, как пройти в город; тот объяснил ему, что это невозможно; из соображений безопасности поезд покидать нельзя; каждый пассажир должен оставаться на своем месте как живая гарантия того, что он не подложил в поезд бомбу; вокруг полным-полно террористов мусульманских и террористов ирландских; они спят и видят, как бы устроить жуткий взрыв в туннеле под Ла-Маншем.

Он вернулся в вагон, женщина-контролер улыбнулась ему, весь вагонный персонал тоже улыбнулся, и тогда он сказал себе: делать нечего, такими бесчисленными натянутыми улыбками и сопровождается эта ракета, запущенная

в туннель смерти, ракета, битком набитая поборниками скуки, американскими, немецкими, испанскими, корейскими туристами, готовыми рискнуть своей жизнью в этой великой битве. Он сел, а как только поезд тронулся, вскочил и пустился на поиски Шанталь.

Вошел в вагон первого класса. С одной стороны коридора кресла стояли в один ряд, с другой — в два; посреди вагона они были обращены одно к другому, так что сидящие в них пассажиры могли вести шумные беседы. Среди них была и Шанталь. Он увидел ее со спины, но тут же узнал бесконечно трогательную и почти забавную форму головы с вышедшим из моды шиньоном. Сидя у окна, она участвовала в оживленной беседе; ее собеседниками были, по всей видимости, сотрудники по агентству; стало быть, она не солгала? Сколь невероятным это ни кажется, она все-таки не солгала.

Он замер на месте; до него то и дело доносились взрывы смеха, среди которых он различал и смех Шанталь. Ей было весело. Да, ей было весело, и это ранило его. Он смотрел на ее оживленную жестикуляцию, какой он раньше за ней не замечал. Он не слышал того, что она говорила, но видел руку, то энергично взлетавшую вверх, то

опускавшуюся, невозможно было ее узнать: рука эта принадлежала кому-то чужому; он не думал, что Шанталь его предала, тут было что-то другое: ее вроде бы больше для него не существовало, она ушла куда-то далеко, в другую жизнь, где если он и встретит ее, то все равно не узнает.

## 42

— Да как же мог троцкист стать верующим? — воинственным тоном воскликнула Шанталь. — Где тут логика?

— Дорогая моя, вам известна знаменитая формула Маркса: изменить мир?

— Разумеется.

Она сидела у окна, лицом к самой старшей из своих сотрудниц по агентству, изысканной даме с пальцами в перстнях; устроившийся рядом с дамой Леруа продолжал:

— Так вот, наш век заставил нас понять потрясающую истину: человек не способен изменить мир и никогда его не изменит. Таково фундаментальное заключение моего революционного опыта. Заключение, впрочем, молчаливо одобряемое всеми. Но есть и другая истина, куда более глубокая. Это истина богословского порядка, и она гласит: человек не имеет права изменять того, что сотворено Богом. И сей запрет нужно соблюдать до конца.

Шанталь смотрела на него с восхищением: он говорил не как учитель, а как провокатор. Что ей нравилось больше всего — так это сухой тон этого

человека, который умудряется превращать в провокацию все что ни делал, в лучших традициях революционеров или авангардистов; он никогда не забывал «эпатировать буржуа», даже если изрекал самые банальные истины. Впрочем, разве самые подстрекательские истины («буржуев — на фонарные столбы!») не становятся самыми банальными, когда их носители приходят к власти? Банальность способна в любой момент стать провокацией, а провокация — банальностью. Самое главное — стремление довести до конца любую установку. Шанталь отлично представляла себе Леруа на бурных сходках студенческого бунта 1968 года, вполне интеллигентным образом, сухо и логично изрекающим сентенции, все здравые возражения против которых были заранее обречены на разгром: буржуазия не имеет права на жизнь; искусство, непонятное рабочему классу, должно исчезнуть; наука, служащая интересам буржуазии, бессмысленна; преподавателей нужно выгнать из университетов; противников свободы нельзя оставлять на свободе. И чем более абсурдной была изрекаемая им фраза, тем больше он ею гордился, ибо только великий ум способен придать логический смысл бессмысленным идеям.

— Не спорю,— ответила Шанталь, — я тоже думаю, что любые перемены ведут только к худшему. Во всяком случае, наш долг — уберечь мир от перемен. Но, увы, мир не в состоянии приостановить безумную гонку своих изменений…

— В которых человек играет роль простого инструмента, — прервал ее Леруа. — Изобретение паровоза таит в себе, как в зародыше, план самолета, а тот в свою очередь неотвратимо ведет к созданию космической ракеты. Такого рода логика содержится в самих вещах, иными словами, она составляет часть божественного предначертания. Вы можете полностью заменить нынешнее человечество каким-то другим, но эволюция, ведущая от велосипеда к ракете, останется неизменной. Ведь человек — не творец, а только пособник этой эволюции. Можно даже сказать — жалкий пособник, ибо ему неведома суть того, чему он пособляет. Эта суть принадлежит не нам, а только Богу, и мы живем на свете лишь затем, чтобы повиноваться Ему, а Он мог делать все, что Ему заблагорассудится.

Она прикрыла глаза: сладостное слово «промискуитет» пришло ей на ум и заполнило его до краев; она тихонько произнесла про себя: «промискуитет идей». Каким это образом два столь

несхожих понятия могут умещаться в одной голове, словно две любовницы в одной постели? В прежнее время такой вопрос мог бы почти возмутить ее, а сейчас прямо-таки очаровал: сейчас она знает, что разница между тем, что Леруа говорил когда-то, и тем, что он вещает теперь, не имеет ни малейшего значения. Потому что все идеи стоят одна другой. Потому что все утверждения и выступления равноценны, им бы только тереться друг о друга, скрещиваться, ласкаться, сливаться, сплетаться, трепыхаться, совокупляться.

В это время напротив Шанталь раздался приятный, хотя и чуть дребезжащий голос:

— Но зачем же в таком случае мы существуем в сем дольнем мире? Зачем мы живем?

Это был голос изысканной дамы, сидевшей рядом с Леруа, к которому она относилась с обожанием. Шанталь вообразила, что начальник окружен сейчас двумя женщинами, между которыми он должен выбирать: дамой романтичной и дамой циничной; она услышала умоляющий голосок той из них, которая не хочет отрекаться от своих прекраснодушных взглядов и в то же время (согласно фантазии Шанталь) защищает их с тайной надеждой, что они будут попраны ее демоническим кумиром, который как раз в этот

момент к ней обернулся:

— Зачем мы живем? Чтобы поставлять Господу плоть человеческую. Ибо Священное Писание не требует от нас, дорогая моя, искать смысл жизни. Оно требует, чтобы мы плодились. Любитесь и плодитесь. Раскиньте-ка умом: смысл этого «любитесь» определен словом «плодитесь». Стало быть, повеление «любитесь» никоим образом не означает любви харистической, сострадательной, духовной или чувственной, оно значит просто-напросто: «занимайтесь любовью!», «совокупляйтесь!» (он подбавил в свой голос побольше меду и наклонился к ней поближе)… «трахайтесь!» — Дама смотрела ему в глаза с покорностью преданной ученицы. — В этом и только в этом состоит смысл человеческой жизни. Все остальное — сущий вздор.

Рассуждения Леруа были жесткими, словно бритва, и Шанталь не взялась бы оспаривать их: любовь как взаимоэкзальтация двух личностей, любовь как верность, страстная привязанность к одному-единственному лицу — нет, такого на свете не существует. А если и существует, то лишь в виде самовнушения, добровольного самоослепления, бегства в монастырь. Шанталь сказала себе, что если любовь и существует, то она не

имеет права на существование, и эта мысль вовсе не огорчила ее, а, напротив, исполнила ликованием. Она подумала о метафоре розы, чей аромат пронизывает всех на свете мужчин, и сказала себе, что до сих пор она жила в любви словно в заключении, а теперь готова повиноваться мифу розы и слиться с ее хмельным ароматом. Дойдя до этого пункта своих размышлений, она вспомнила о Жан-Марке. Остался ли он дома? Ушел ли? Она спрашивала себя об этом совершенно бесстрастно, как если бы задавалась вопросом, идет ли дождь в Риме и стоит ли хорошая погода в Нью-Йорке.

И все же, сколь ни безразличным было ей воспоминание о Жан-Марке, оно заставило ее повернуть голову. В глубине вагона она увидела человека — он тут же повернулся к ней спиной и прошел в соседний вагон. Ей показалось, что это был Жан-Марк, пытающийся скрыться от ее взгляда. Но так ли было на самом деле? Вместо того чтобы ломать себе голову над этим вопросом, она поглядела в окно: пейзаж становился все более и более удручающим, поля — все более серыми, на них все чаще торчали металлические башни и бетонные строения за колючей проволокой. Голос из громкоговорителя объявил, что

через несколько секунд поезд войдет в туннель. Перед нею и в самом деле разверзлась круглая и черная дыра, куда, подобно змею, скользнул состав.

## 43

— Мы спускаемся, — проговорила изысканная дама, и в ее голосе прозвучало боязливое возбуждение.

— В ад, — добавила Шанталь, полагавшая, что Леруа был бы не прочь иметь подле себя даму еще более наивную, еще более впечатлительную, еще более боязливую. Теперь она чувствовала себя его демонической сообщницей. В голову ей пришла веселенькая идея: привести эту изысканную и целомудренную даму к нему в постель, которая грезилась ей не в каком-нибудь шикарном лондонском отеле, а на помосте среди языков пламени, стонов, клубов дыма и дьявольских игр.

В окно больше не на что было смотреть, поезд мчался по туннелю, и ей казалось, что он уносит ее от золовки, от Жан-Марка, от всякой слежки, всякого шпионажа, уносит прочь от собственной жизни, которая липла к ней, давила на нее; в памяти всплыли слова «пропавшие бесследно», и она поразилась тому, что путь к исчезновению оказался вовсе не тягостным, а приятным и радостным, ибо свершался под эгидой мифологической розы.

— Мы спускаемся все глубже и глубже, — с дрожью в голосе заметила дама.

— Туда, где находится истина, — уточнила Шанталь.

— Туда, — подхватил Леруа, — где находится ответ на ваш вопрос: зачем мы живем? в чем суть нашей жизни? — Он уставился на даму: — Суть жизни — это продление жизни; это роды и то, что предшествует родам, сиречь соитие, и то, что предшествует соитию, то есть поцелуйчики, волосы, ласкаемые ветром, трусики, хорошо скроенные лифчики, а потом то, что делает людей способными к соитию, то есть жратва — я имею в виду не хорошую кухню, это штука излишняя, и до нее теперь никому дела нет, а простую жратву, что покупают все на свете, а вместе со жратвой и дефекация, ибо вам ли не знать, моя дражайшая и обожаемая дама, сколь важное место в нашем деле занимает реклама туалетной бумаги и подгузников? Туалетная бумага, подгузники, стирка, жратва. Вот священный круг, предначертанный для человечества, и наша задача состоит не только в том, чтобы обозначить, установить и ограничить этот круг, но и чтобы сделать его как можно более прекрасным, превратить его в некий ангельский хорал. Нашими стараниями

туалетная бумага выпускается почти исключительно розового цвета, что следует считать высокопоучительным фактом, над коим, моя дорогая и впечатлительная дама, я и советую вам хорошенько поразмыслить.

— Но ведь все это тщета, тщета, — воскликнула дама таким трепетным голосом, будто ее только что изнасиловали, — это же приукрашенная тщета! Мы занимаемся тем, что приукрашиваем тщету!

— Совершенно верно, — подтвердил Леруа, и Шанталь услышала в этом «совершенно верно» отголосок наслаждения, которое доставила ему жалоба почтенной дамы.

— Но где же в таком случае величие жизни? Если мы обречены на жратву, соития и туалетную бумагу, то кто мы такие? И если нас хватает только на это, вправе ли мы гордиться званием свободных существ, которое нам приписывают?

Шанталь посмотрела на даму и подумала, что та — вожделенная жертва обычнейшей групповухи. Она представила себе, как ее раздевают, ввергают ее немолодые и почтенные телеса в общий круг и заставляют громким и жалобным голосом повторять свои наивные истины перед бесстыдно трахающейся компанией…

— О какой свободе вы говорите? — прервал фантазии Шанталь Леруа. — Прозябая в своей тщете, вы вольны быть несчастной или счастливой. В этом выборе и состоит ваша свобода. Вы вольны растворить вашу индивидуальность в котле множества с чувством поражения или с ощущением эйфории. Наш выбор, моя дорогая, это эйфория.

Шанталь почувствовала, как на ее лице прорисовывается улыбка. Она распрекрасно усекла то, что сказал Леруа: наша единственная свобода — в возможности выбора между горечью и наслаждением. Пусть наш удел — осознание ничтожности всего, что нас окружает, но мы не должны ощущать его как изъян, мы должны научиться извлекать из него удовольствие. Она смотрела на невозмутимое лицо Леруа, лучившееся умом, столь же чарующим, сколь и извращенным. Она смотрела на него с симпатией, но безо всякого вожделения, повторяя про себя (и как бы махнув рукой на свое предыдущее видение), что он уже давным-давно претворил всю свою мужскую энергию в беспощадную логику, в абсолютную власть над своим рабочим коллективом. Она представила себе их прибытие на вокзал: пока Леруа будет по-прежнему нагонять своими речами дрожь на даму, которая его

обожает, она потихоньку шмыгнет в телефонную будку, а потом и вовсе оторвется ото всех.

## 44

Японцы, американцы, русские, все с фотоаппаратамии на груди, повалили из поезда, и Жан-Марк изо всех сил старался не потерять Шанталь из виду. Широкий людской поток внезапно сужался, уносимый эскалатором куда-то под платформу. У подножия эскалатора, в холле, люди с кинокамерами в сопровождении толпы зевак перегородили течение потока. Пассажирам пришлось остановиться. Послышались аплодисменты и крики, с соседнего эскалатора сходила вереница детей. У всех на головах были шлемы разных расцветок, словно у членов спортивной команды, маленьких мотоциклистов или лыжников. Их-то и примчались снимать киношники. Жан-Марк встал на цыпочки, чтобы разглядеть Шанталь поверх голов. И наконец увидел ее. Она стояла в телефонной будке по другую сторону детской колонны, с кем-то разговаривала. Жан-Марк попробовал пробиться к ней. Толкнул владельца кинокамеры, который в сердцах дал ему пинок ногой. Жан-Марк двинул его локтем так, что тот едва не выронил свой аппарат. Подоспевший полицейский попросил Жан-Марка потерпеть,

пока не кончится съемка. И вот тут-то его взгляд на две-три секунды встретился со взглядом Шанталь, выходящей из кабины. Он снова бросился расчищать себе дорогу в толпе. Но полицейский так вывернул ему руку, что Жан-Марк скрючился от боли и потерял Шанталь из виду.

Лишь когда мимо прошагал последний малыш в шлеме, полицейский ослабил хватку и выпустил свою жертву. Жан-Марк посмотрел в сторону телефонной будки, но там было пусто. Возле него остановилась группа французов; он узнал сослуживцев Шанталь.

— А где Шанталь? — спросил он у какой-то девушки.

— Вам виднее, — ответила та укоризненным тоном. — Ей было так весело! Но когда мы вышли из вагона, она куда-то пропала!

Другая девушка, этакая толстушка, не старалась скрыть раздражения:

— Я вас видела в поезде. Вы еще делали ей знаки. От меня не скроешься! Это вы все испортили.

— Пошли! — прервал их голос Леруа.

— А как же Шанталь? — спросила первая девушка.

— У нее есть адрес.

— Этот господин тоже ее ищет, — сказала изыс-

канная дама с перстнями на пальцах.

Жан-Марку было известно, что Леруа знает его в лицо, да и сам знал его.

— Добрый день, — обратился он к нему.

— Добрый день, — отозвался Леруа и улыбнулся. — Я видел, какую кашу вы заварили. Один против всех.

Жан-Марку почудилась теплота в его голосе. В эту отчаянную минуту она была словно протянутая ему рука помощи; словно искра, готовая разгореться в пламень дружбы, бескорыстной дружбы двух мужчин, готовых помочь друг другу просто так, лишь в силу взаимной симпатии. Эта теплота была как сбывшийся наяву добрый сон.

Преисполнившись доверия к Леруа, он попросил:

— Вы не могли бы мне сказать, в какой гостинице остановились? Я позвонил бы и узнал, там ли она.

Помолчав, Леруа осведомился:

— А она сама вам не сказала?

— Нет.

— В таком случае, прошу прощения, — вежливо и почти с сожале-‘ нием произнес Леруа, — и я не могу вам этого сказать.

Искра вспыхнула и погасла, а Жан-Марк тут же

почувствовал боль в плече, едва не вывихнутом стараниями полицейского. Вновь оставшись в одиночестве, он вышел из здания вокзала. И, не зная куда податься, побрел наугад по улицам.

На ходу он достал из кармана деньги и еще раз пересчитал их. На обратную поездку хватало, но и только. Нужно решиться и ехать немедленно. К вечеру он будет в Париже. И разумеется, это было бы наилучшим решением. Что ему тут делать? Делать ему тут ровным счетом нечего. И однако, уехать он не мог. И никогда не решится уехать. Как покинешь Лондон, если Шанталь в нем остается?

Но поскольку деньги нужны ему на обратный билет, он не может снять номер в гостинице, не может разориться на еду, даже на какой-нибудь бутерброд. А где ему прикажете ночевать? Он внезапно осознал, что его положение наконец-то подтверждает то, о чем он так часто говорил Шанталь: по истинному своему призванию он некто иной, как маргинал, отщепенец, живший, правду сказать, в свое удовольствие, но только благодаря временному и зыбкому стечению обстоятельств. И вот он внезапно стал самим собой, вернулся в соприродную ему среду — среду бедняков, не имеющих даже крыши над головой.

Он вспомнил о своих спорах с Шанталь, и его охватило ребяческое желание увидеть ее прямо сейчас единственно для того, чтобы сказать ей: наконец-то ты понимаешь, что все это не было притворством, что я и на самом деле такой: маргинал, бездомный босяк, клошар.

## 45

Наступил вечер, сразу похолодало. Он свернул на улицу, по одной стороне которой стояли дома, а по другую виднелся парк за черной оградой. На дорожке вдоль ограды парка стояла деревянная скамья; он сел на нее. Он чувствовал себя усталым, ему хотелось лечь на скамью и вытянуться во весь рост. Вот так это и начинается, подумалось ему. В один прекрасный день забираешься с ногами на скамью, а потом, когда приходит ночь, засыпаешь. В один прекрасный день оказываешься среди бродяг и сам становишься бродягой.

Вот почему он изо всех сил старался перебороть усталость и сидел прямо, как отличник в классе. Позади него темнел парк, а перед ним, по ту сторону дороги, стояли дома, совершенно одинаковые, белые, трехэтажные, с двумя колоннами у дверей и четырьмя окнами на каждом этаже. Он внимательно оглядывал каждого из проходивших по этой малолюдной улице. Он решил сидеть так до тех пор, пока не увидит Шанталь. Что ему еще оставалось сделать для нее, для них обоих? Только ожидать.

Внезапно, метрах в тридцати справа, зажглись

все окна одного из домов, а изнутри кто-то задернул красные занавески. Жан-Марк подумал было, что там затеяла пирушку какая-нибудь веселая компания. Но удивительно, как это он не заметил гостей, входящих в дом; неужели все собрались там уже давно и только теперь решили включить свет? А может быть, он, сам того не заметив, заснул и прозевал сбор приглашенных? Господи боже, а что, если он вот так, во сне, проворонил и Шанталь? И тут же его как молнией поразила мысль о задуманной здесь оргии; он вспомнил слова «ты сам отлично знаешь, почему в Лондон», и это «ты сам отлично знаешь» внезапно открылось перед ним в совершенно ином свете: Лондон — это город англичанина, британца, Британика; это ему она звонила с вокзала, это ради встречи с ним она оторвалась от Леруа, от своих коллег, ото всех.

Его охватило чувство ревности, непомерной и мучительной, совсем не той абстрактной, ментальной ревности, какую он испытывал, когда, стоя перед открытым шкафом, задавался чисто теоретическим вопросом о том, способна ли Шанталь ему изменить, — нет, то была ревность, которую он знавал в пору юности, — пронзительная, болезненная, невыносимая. Он представил

себе, как Шанталь отдается другим, отдается покорно и самозабвенно, и почувствовал, что не в силах больше сдержаться. Вскочил, и помчался к дому. Его совершенно белую дверь освещал фонарь. Он повернул ручку, дверь открылась, он вошел, увидел лестницу, застланную красным ковром, услышал шум голосов, поднялся до просторной площадки второго этажа, во всю ширину занятой длинной вешалкой, на которой висели не только плащи, но и (сердце его снова дрогнуло) женские платья и мужские рубашки. Вне себя от бешенства, он проскочил весь этот гардероб и очутился перед большой двустворчатой дверью, тоже белой, и тут чья-то тяжелая ладонь опустилась на его ноющее плечо. Он обернулся и почувствовал у себя на щеке дыхание какого-то здоровяка в тенниске и с наколками на руках, который что-то говорил ему по-английски.

Он попытался стряхнуть с себя эту ладонь, все больнее сжимавшую его плечо и толкавшую его к лестнице. Там, пытаясь хоть как-то освободиться, он споткнулся и лишь в самый последний момент сумел уцепиться за перила. Чувствуя себя побежденным, он медленно заковылял вниз. Тип с наколками шагал вслед, и когда Жан-Марк в нерешительности замер перед дверью, про-

кричал ему что-то по-английски и взмахом руки велел убираться.

## 46

Образ групповухи преследовал Шанталь уже давно, он присутствовал в ее смутных снах, в воображении и даже в разговорах с Жан-Марком, который в один прекрасный (и такой теперь далекий) день признался ей: я был бы не прочь в ней поучаствовать, но при одном условии — чтобы в решающий миг все присутствующие превратились в животных, кто в овечку, кто в корову, кто в козу, а вся эта дионисийская оргия обернулась бы пасторалью, где мы одни останемся людьми среди скотов, словно пастух с пастушкой. (Эта идиллическая фантазия немало позабавила ее: бедные распутники спешат в дом порока, не зная, что им придется покинуть его в виде коров.)

Ее окружало скопище голых людей, и в этот миг она охотно предпочла бы людям овечек. Ей никого больше не хочется видеть, и она закрывает глаза: но и за сомкнутыми веками она продолжает их видеть, от них некуда деваться, от них и от их органов, которые то встают, то поникают, то поникают, то вздуваются, то съеживаются. Это было похоже на поле, среди которого корчатся земляные черви — распрямляются, изгибаются,

скручиваются, опадают. Потом земляных червей сменяют змеи; зрелище отвратительное, но в то же время возбуждает. Вот только возбуждение это не подталкивает ее снова заняться любовью, как раз наоборот, чем сильнее она возбуждена, тем большее отвращение испытывает к собственному возбуждению, внушающему ей мысль, что ее тело принадлежит не ей самой, а этому мерзкому полю с червяками и змеями.

Она открывает глаза: из соседней комнаты появляется какая-то женщина, она застывает у распахнутой настежь двери и, словно желая вырвать Шанталь из этого мужевидного морока, из этого царства земляных червей, окидывает ее обольстительным взглядом. Она высока, прекрасно сложена, белокурые пряди обрамляют чарующее лицо. В тот самый миг, когда Шанталь уже готова ответить на ее безмолвный призыв, белокурая красавица округляет губки и выпускает из них струйку слюны; Шанталь видит ее рот словно в сильную лупу, под большим увеличением: слюна белая и полная воздушных пузырьков; женщина то выпускает, то вбирает эту слюнную пену, будто завлекая Шанталь, обещая ей блаженство нежных и влажных поцелуев, во время которых одна из них растворится в другой.

Шанталь смотрит на слюну, искрящуюся, дрожащую, переливающуюся на губах, и ее отвращение сменяется приступом тошноты. Она поворачивается, чтобы потихоньку улизнуть. Но блондинка, подкравшись из-за спины, хватает ее за руку. Шанталь вырывается и делает несколько шагов, пытаясь скрыться. И, снова чувствуя на себе руку блондинки, бросается бежать. За ее спиной слышится дыхание преследовательницы, которая, надо думать, принимает ее бегство за эротическую игру. Шанталь попадает в ловушку: чем отчаяннее становятся ее попытки ускользнуть, тем сильнее возбуждается блондинка, к которой присоединяются другие загонщики, преследующие ее, словно дичь.

Она выбегает в коридор, все еще слыша за собой шаги. Гонящиеся за ней тела столь гадки, что ее отвращение превращается в ужас: она мчится так, словно спасает собственную жизнь. Длинный коридор заканчивается раскрытой дверью, за ней небольшое помещение, выложенное плиткой, с дверцей в углу; она распахивает ее и захлопывает за собой.

В полной темноте прислоняется к стене, чтобы перевести дыхание; потом, пошарив вокруг двери, включает свет. Похоже, это клетушка убор-

щицы: пылесос, метлы, тряпки. На куче тряпья, свернувшись в клубок, лежит пес. Не слыша больше никаких голосов снаружи, она говорит себе: вот и настала пора зверей, я спасена. И громко спрашивает пса:

— Ты кто из этих мужчин?

И тут же приходит в замешательство от собственных слов. Господи, спрашивает она себя, откуда ко мне пришла мысль, будто в конце групповухи люди становятся зверями? Да, это странно: она уже не может припомнить, откуда взялась эта мысль. Роется в памяти, но ничего там не обнаруживает. Никакого конкретного воспоминания, только легкое загадочное впечатление, невыразимо благодатное, словно невесть откуда взявшаяся подмога.

Дверь неожиданно и резко отворяется. Входит небольшого росточка черная женщина в зеленой кофте. Без удивления окидывает Шанталь беглым взглядом, в котором сквозит презрение. Шанталь отступает в сторону, чтобы дать ей возможность забрать большой пылесос и вместе с ним убраться из каморки.

И оказывается рядом с псом, который ощеривает клыки и ворчит. Ее снова охватывает ужас; она выходит.

## 47

Шанталь очутилась в коридоре, преследуемая одной-единственной мыслью: найти лестничную площадку, где на металлической вешалке осталась ее одежда. Но сколько она ни крутила дверные ручки, все двери оказались запертыми на ключ. Наконец одна большая дверь подалась, она вошла в зал; он показался ей диковинно большим и пустым. Черная женщина в зеленой кофте уже принялась за работу, орудуя своим огромным пылесосом. Из всей вечерней компании осталось всего несколько господ, они стояли и негромко разговаривали; все они были одеты и не обращали никакого внимания на Шанталь, которая, сознавая свою внезапно ставшую неуместной наготу, поглядывала на них с некоторым смущением. Еще один господин лет семидесяти в белом утреннем халате и домашних туфлях подошел к ним и присоединился к разговору.

Она ломала себе голову, как бы отсюда выбраться, но в этой изменившейся атмосфере, в этом неожиданном малолюдье расположение комнат тоже вроде бы изменилось, и она никак не могла разобраться в нем. Увидела широко открытую

дверь в соседнюю комнату, где блондинка со слюной пыталась ее искушать; прошла в нее; комната была пуста; она остановилась и поискала взглядом другую дверь; таковой не оказалось.

Она вернулась в зал и заметила, что господа уже отбыли. Ах, быть бы ей хоть немного повнимательней! Тогда она могла бы уйти вместе с ними! Только семидесятилетний старик еще оставался в зале. Их взгляды встретились, и Шанталь узнала его; внезапно преисполнившись восторженного доверия, она подошла к нему:

— Я вам звонила, помните? Вы пригласили меня к себе, но когда я приехала, вас не оказалось дома!

— Знаю, знаю, но вы уж меня простите, я больше не участвую в этих детских забавах, — ответил он любезно, но не задерживая на ней внимания. Подошел к окнам и одно за другим распахнул их. В зал ворвался сильный сквозняк.

— Так приятно встретить здесь хоть кого-то знакомого, — взволнованно сказала Шанталь.

— Нужно выветрить всю эту вонь.

— Скажите мне, где найти лестницу? Там все мои вещи.

— Потерпите немножко, — отозвался он и направился в угол, где стоял всеми забытый стул,

принес его и предложил: — Присядьте. Я займусь вами, как только освобожусь.

Теперь стул торчит посреди зала. Она послушно садится. Старик подходит к черной женщине и вместе с нею скрывается в соседней комнате. Оттуда теперь доносится гудение пылесоса; сквозь него пробивается голос старика, отдающего какие-то приказания, потом слышится стук молотка. Молоток? — удивляется она. Кто же здесь работает молотком? Она никого не видела! Значит, кто-то пришел. Но через какую дверь он сюда проник?

Сквозняком взметает красные занавески на окнах. Шанталь, сидящая на стуле голышом, начинает зябнуть. Снова слышатся удары молотка, и, охваченная внезапным ужасом, она соображает: да они же заколачивают все двери! Ей никогда не выбраться отсюда! Ее охватывает чувство страшной опасности. Она вскакивает со стула, делает два-три шага, но, не зная, куда идти дальше, останавливается. Нужно бы позвать на помощь. Но кто может ее спасти? В этот жуткий миг у нее перед глазами мелькает образ человека, который в одиночку идет против толпы, лишь бы пробиться к ней. Кто-то заламывает ему руку за спину. Она не видит его лица, только скрюченное

в три погибели тело. Господи боже, нужно бы вспомнить, кто он такой, представить себе его черты, но у нее ничего не получается, она знает лишь, что этот человек ее любит, и теперь это единственное, что для нее важно. Она видела его в этом городе, он где-то здесь, неподалеку. Ей нужно поскорее отыскать его. Но как это сделать? Двери заколочены. Она переводит взгляд на красную занавеску, вьющуюся над окном. Окна! Они же открыты! Нужно подойти к окну! Окликнуть кого-нибудь на улице! Или даже спрыгнуть вниз, если окно не слишком высоко. Снова удар молотка. И еще один. Сейчас или никогда. Время работает против нее. Нельзя упускать последнюю возможность.

## 48

Он вернулся к скамейке, еле видной в темноте между двумя фонарями, единственными на этой улице и стоящими далеко один от другого.

Сделал попытку сесть — и услышал ворчание. Подскочил как ужаленный; бродяга, тем временем занявший скамейку, послал его куда подальше. Жан-Марк без возражений удалился. Все в порядке, сказал он себе, таков мой новый статут; я должен биться даже за тот жалкий уголок, где мог бы переночевать.

Он остановился там, где на другой стороне дороги, напротив него, подвешенный между двумя колоннами фонарь освещал белую дверь дома, откуда его только что выставили. Сел прямо на тротуар и прислонился к решетке, окружавшей парк.

Потом начал моросить мелкий дождь. Он поднял воротник куртки, не отрывая глаз от дома.

Внезапно одно за другим отворяются окна. Раздернутые занавески колышатся под сквозняком, позволяя ему видеть белый освещенный потолок. Что все это может означать? Что пирушка закончена? Но ведь из дома никто не выходил! Всего

несколько минут назад он корчился на угольях ревности, а теперь им владел один только страх, страх за Шанталь. Он готов был сделать для нее все, но не знает, что именно нужно сделать, и это было невыносимо: он не представляет себе, как ей помочь, и в то же время сознает, что только он один может помочь ей, он, он один, потому что у нее нет больше никого на свете, никого на всем белом свете.

Не вытирая мокрого от слез лица, он поднимается, делает несколько шагов к дому и громко зовет ее по имени.

## 49

Держа в руках другой стул, старик останавливается перед Шанталь:

— Куда это вы направляетесь?

Застигнутая врасплох, она смотрит на него с удивлением, и в этот миг величайшей растерянности неистовая волна жара взметается из глубин ее существа, захлестывает живот и грудь, покрывает лицо. Вся она пылает. Она совершенно нагая, с ног до головы красная, и мужской взгляд, устремленный на ее тело, принуждает ее ощущать каждую частицу своей обжигающей наготы. Машинальным жестом она кладет руку на грудь, как бы пытаясь ее заслонить, но пламя, бушующее внутри, стремительно пожирает ее храбрость и бунтарский порыв. Внезапно она чувствует себя уставшей. Внезапно она чувствует себя слабой.

Он берет ее за руку, подводит к стулу, а сам усаживается напротив. Так они и сидят лицом к лицу напротив друг друга посреди пустого зала.

Холодный сквозняк обдает покрытое испариной тело Шанталь. Она вздрагивает и ломким, умоляющим голосом спрашивает:

— Отсюда нельзя выбраться?

— А почему бы вам не остаться вместе со мной, Анна? — в свой черед спросил старик укоризненным тоном.

— Анна? — она леденеет от ужаса. — Почему вы зовете меня Анной?

— Но разве это не ваше имя?

— Я никакая не Анна!

— Для меня вы всегда были Анной!

Из соседней комнаты донеслось еще несколько ударов молотка; он повернул голову в ту сторону, как бы раздумывая, не вмешаться ли. Она воспользовалась этой заминкой, чтобы попытаться понять: она и без того голая, а они все продолжают раздевать ее. Раздевать так, чтобы у нее не осталось собственного «я». Раздевать так, чтобы у нее не осталось собственной судьбы! Назвав ее другим именем, они бросят ее среди незнакомых людей, которым она никогда не сможет объяснить, кто она такая.

Нет надежды выбраться отсюда. Двери заколочены. Ей нужно начать с самого малого — с начала. Начало — это ее имя. Она хочет малой малости, самого необходимого — чтобы стоящий напротив дома человек позвал ее по имени, произнес ее подлинное имя. Это — первое, что

она у него попросит. Что она потребует. Но едва наметив себе эту цель, она обнаруживает, что ее имя как бы заблокировано у нее в голове; она не в силах его вспомнить.

Это приводит ее в дикую панику, но она знает, что на карту поставлена ее жизнь, и чтобы защищаться, чтобы сражаться, ей во что бы то ни стало необходимо снова обрести хладнокровие; отчаянно пытаясь сосредоточиться, она силится вспомнить; при крещении ей дали три имени, да-да, три, хотя носила она только одно, это ей известно, но какое из этих трех имен она сохранила? Боже мой, она должна была слышать его тысячи раз!

Вновь мелькнула мысль о человеке, который ее любил. Если бы ей удалось вспомнить его лицо, она, возможно, представила бы себе и губы, произносящие ее имя. Это кажется ей неплохим ходом: докопаться до собственного имени окольным путем, через того человека. Она пытается представить его себе и снова видит фигуру, неистово пробивающуюся сквозь толпу. Образ получается бледным, расплывчатым, она силится удержать его, удержать и углубить, продвинуть в прошлое: откуда он явился, этот человек? как он оказался в толпе? зачем устроил стычку?

Она силится расширить это воспоминание, и перед нею появляется сад, большой сад и вилла, и там среди прочих людей она различает низенького, щуплого человечка и вспоминает, что у них был ребенок, ребенок, о котором она не знает ничего, кроме того, что он умер…

— Где это вы заблудились, Анна?

Она поднимает голову и видит какого-то старика: он сидит перед нею на стуле и смотрит на нее.

— Мой ребенок умер, — говорит она. Воспоминание оказывается слишком зыбким; именно поэтому она говорит о нем вслух; ей хочется придать ему больше реальности; ей хочется удержать и его, удержать как ускользающий от нее кусочек жизни.

Он склоняется к ней, берет ее за руки и произносит ободряющим тоном:

— Забудьте о своем ребенке, Анна, забудьте о своих мертвецах, подумайте о жизни!

Он улыбается ей. Потом делает рукой широкий жест, словно желая обрисовать нечто необъятное и возвышенное:

— О жизни! О жизни, Анна, о жизни!

Эта улыбка и этот жест вселяют в нее ужас. Она встает. Она дрожит. И голос ее тоже дрожит:

— О какой жизни? Что вы называете жизнью?

Бездумно заданный ею вопрос влечет за собой другие: а что, если все это уже смерть? если все это и есть смерть?

Она отбрасывает стул, он катится через весь зал и стукается о стену. Она хочет закричать, но не может вспомнить ни единого слова. Только нескончаемый и нечленораздельный вопль вырывается у нее изо рта:

— А-а-а-а!

## 50

— Шанталь! Шанталь! Шанталь!

Он сжал в объятиях ее сотрясающееся от крика тело.

— Проснись! Это все неправда!

Она дрожала у него в объятиях, а он все твердил ей, что это неправда.

Она повторяла за ним: «Да, это неправда, это неправда», и мало-помалу, мало-помалу приходила в себя.

А я задаюсь вопросом: кому все это приснилось? Кто высмотрел во сне эту историю? Кто ее выдумал? Она? Он? Они оба? Каждый для другого? И с какого момента их реальная жизнь начала превращаться в обманчивую фантазию? Когда поезд нырнул под Ла-Манш? Или раньше? С того утра, когда она объявила ему о своем отъезде в Лондон? Еще раньше? С того дня, когда в кабинете графолога она повстречала гарсона из кафе в нормандском городке? А может быть, и еще раньше? Когда Жан-Марк послал ей первое письмо? Но посылал ли он на самом деле эти письма? Или писал их только в собственном воображении? Можно ли установить точный момент, когда

реальное превратилось в нереальное, реальность — в сновидение? Где была граница между ними? И где она теперь?

## 51

Я вижу оба их лица, в профиль, они освещены слабым светом ночной лампы: затылок Жан-Марка утопает в подушке, лицо Шанталь склонилось сантиметрах в десяти над ним.

— Я больше не упущу тебя из виду, — говорит она. — Буду смотреть не отрываясь.

И после паузы:

— Мне страшно мигать. Страшно, что за тот миг, когда мой взгляд гаснет, на твое место может проскользнуть змея, крыса или другой мужчина.

Он пытается чуть приподняться, чтобы коснуться ее губ.

Она качает головой:

— Нет-нет, я хочу только смотреть на тебя.

А потом:

— Я оставлю лампу гореть всю ночь. Все ночи.

***Закончено во Франции осенью 1996***